

Вера Гаврилко

СТИЛЬНЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ ПЛАТОЧЕК

Оглавление

СТИЛЬНЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ ПЛАТОЧЕК	1
НЕДОМАТУСЕНЬКА ВИКУСЯ	2
ПАНКЕТКА ВИОЛЕТТА	5
МАРИНА-СУБМАРИНА	8
НИКА	14
МАДАМ БОВАРИ	22
МАРФИНЫКА	26
ПИСЬМО ЛЮБВИ	30
МНЕ ЗЛОБНО И СВЕТЛО	35
АНГЕЛ ИЗ ПСИХУШКИ	40
ТАНЦЫ НЕЛЮБИМЫХ	43
КВАДРАТ МАНЕВИЧА	61
ВЕРХОТУРЬЕ	77
БОГ, КОТОРЫЙ ОБНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА И СМИРЯЕТСЯ ПЕРЕД НИМ	97

СТИЛЬНЕНЬКИЙ БЕЛЫЙ ПЛАТОЧЕК

Очерки женских образов современной РПЦ

У Русской Православной Церкви — преимущественно женское лицо. Это факт, нравится он или не нравится модным проповедникам, но Церковь-матушка держится на женщинах. И эти женщины, живые и теплые, далеки от того глянцево-картонного образа «правильной прихожанки», который так старательно лепят православные СМИ.

Автор надеется, что читатель не увидит в этих зарисовках осуждения и насмешки. Все персонажи имеют свои прототипы, порой довольно узнаваемые, однако автор предостерегает от возможного вульгарного восприятия героинь как реальных людей, напоминая, что они суть продукт несовершенного авторского мозга и любящего авторского сердца.

Тоже изрядно несовершенного.

НЕДОМАТУСЕНЬКА ВИКУСЯ

Если бы меня попросили охарактеризовать Викусю одним словом, я бы не нашла, пожалуй, иного эпитета, кроме как «сладкая».

Да, Викуся была сладкая, порой до приторности. И ужасно прехорошенькая. Прелестное личико, ямочки на щеках, локоны, сбегаящие по лилейной шейке игривой волной, — что-то в облике Викуси напоминало барышень с дореволюционных рождественских или порно-открыток. Типаж-то был один и тот же: невинно-сладострастный, румяно-порочный. На мужчин появление Викуси действовало как удар хлыста на саблезубых тигров. Ап! — и тигры у ног моих сели, Ап! — и с лестниц в глаза мне глядят, Ап! — и кружатся на карусели, Ап! — и в обруч горящий летяаяят, — пел популярный в ту пору усатый певец.

В нашей с Викусей совместной молодости мы честно исследовали все городские кабаки, включая непотребные и опасные. Нежная Викуся пила как лошадь. Часто мы привозили ее к двери родительской квартиры как новогоднюю елку, негнущуюся с мороза, прислоняли к стене, звонили и убегали. Мы боялись Викусиного папу. Не помню, чем он занимался, но выглядел как заправский бандит. Что было не удивительно в начале девяностых. Тогда многие папы бандитствовали.

За сохранностью доставки наблюдали уже с безопасного расстояния. Викусин папа осторожно открывал дверь, высовывался, держа правую руку в кармане, зыркал по сторонам как волчара, потом переводил взгляд на объект, выдавал серию виртуозных матюков и привычным жестом закидывал бесчувственное тело на загрибок, унося вглубь квартиры. Дочь была его крестом, и он нес его с большим достоинством.

Я ее очень любила, Викусю, она была моя подруга. Мы вместе начинали ходить в местный храм. Две провинциальные барышни тянулись к свету духовности. И там, в полутьме храма, Викуся расцветала. Во-первых, ей шел платочек, повязанный по-крестьянски. Вот, скажем, я повяжу такой платочек и за версту видать — дурища православная. А Викуся повяжет — ах, девица-краса, длинная коса, хотя никакой косы у Викуси не было. А была очень сильная аура чего-то такого щемящего, томительного, одним словом — сладкого.

Потом наши пути на время разошлись. По настоянию родителей Викуся успела по-быстрому сгонять взамуж, родить сыночка, выгнать мужа взащей

(или он ее выгнал с позором — молва имела варианты), после этого снова была череда безумных романов и пьяных громких скандалов, о которых говорил весь город. И вот мы снова сошлись на почве православия и народности, и зачастили в храм. Я и Викуся, два веселых гуся.

Впрочем, как выяснилось, у Викуси был теперь к религии новый, чисто практический интерес. Разочаровавшись в светских мужчинах, она теперь хотела замуж за батюшку. И подыскивала подходящего. Я Викусю в этом не понимала. Хотя я читала Евангелие и святых отцов, но частную жизнь духовенства воспринимала исключительно сквозь призму великой русской литературы, главным образом — «Сказки о попе и работнике его Балде».

— Будешь толстой попадьею, жирной попадьею, — подкалывала я Викусю.

— Не попадьею, а матушкой, — степенно поправлял меня Викуся. — И что здесь такого? И почему обязательно толстой?

— Эээ. Как-то стремно, — неуверенно говорила я.

— Это в тебе пережитки говорят. Стремно мирского мужа иметь, вот это действительно — стремно. Пьют да гуляют, козлы. А батюшка, если его правильно окольцевать, никуда от жены не денется, — рассуждала Викуся, и ее синие глаза бархатились от удовольствия. — Гулять им нельзя, потому что это грех. Разводиться — конец карьере. А если зачудит, то всегда можно архиерею пожаловаться. И будет муженек как шелковый.

— Допустим. Но тебе все равно ничего не светит.

— Это почему это?

— Потому что батюшке твоему можно жениться только на чистой непорочной деве. А ты, Викуся, прости, разведенка с прицепом.

Этого Викуся не знала. Она открыла рот и часто-часто заморгала.

— Ну... может, это можно как-то обойти? Это ведь общие правила. А всегда есть исключения. Если люди сильно верующие и порядочные, им послабление быть должно. Не может не быть. Как ты думаешь?

Я не знала и пожала плечами.

В деле окольцевания батюшек Викусе сильно не везло. Она навела справки: все окрестные батюшки, как назло, оказались женаты. Что делать в этой ситуации, мы не знали. Интернета со всезнающим Гуглом тогда и в помине не было, а спросить у более продвинутых собратьев и сосестер по вере

казалось неудобным. «Скажут: аааа, вот что у нее на уме, а не Иисус Христос», — печалилась Викуся. Она все-таки блюла имидж.

Наконец, пробил ее час. В наш город с циклом просветительских лекций приехал дьякон Андрей Кураев. Столичная штучка, поп-звезда, к тому же, по слухам, не женатая.

«Отозвался Боженька на мои молитвы. Ответила Царица Небесная. На ловца и зверь бежит», — бормотала Викуся как чумная, наглаживая перед мероприятием свой самый гламурный платочек. В том, что «зверь» клюнет на Викусенькин крючочек, у нее не было сомнений. Не родился еще такой мужчина. Хоть в подряснике, хоть в джинсах «Левис».

Огромный зал ДК бывшего оборонного завода был полон. Ложи блистали. Собрался весь цвет городской интеллигенции и примазавшихся. Лектор был виртуоз и все два часа умело держал зал во внимании и напряжении. «Офигенный! — зачарованно шептала Викуся. Потом поправляла себя: — Божественный!» И вот лекция закончена, слушатели отбили ладони в благодарственной овации. Отец Андрей перешел к чтению записок.

Викуся передала свою записку одной из первых. В ней округлым почерком с милыми завитушками было выведено: «Отец Андрей, вы женаты? Если нет, давайте встретимся после лекции, я приду к вам с подругой брать интервью. Я буду в кружевном платочке».

Но в тот момент я ничего не знала о содержимом записки, это мне Викуся позже ее процитировала. И я, признаться, не поняла, почему она так нервно схватила меня за ладонь ледяной ручкой, когда Кураев взял из вороха розовинькую плотно свернутую бумажечку, развернул ее, сдвинул брови и небрежно бросил в мусорную корзину под ногами. Он явно раздражен и даже рассержен. Викиусина лапка разжалась и безвольно опала.

— И этот! Женаааат, — прошептала Викуся с той интонацией, с которой героини романов восклицают «все кончено!».

— Что-то мне нехорошо стало, — сказала она. — Голова заболела. Я, пожалуй, не пойду с тобой интервью брать. Иди одна.

Интервью состоялось. Я пошла одна. И все не могла понять, почему отец Андрей так желчен, нелюбезен и угрюм. Впрочем, отвечал Кураев, как всегда, блестяще, и материал, когда он вышел в газете, похвалили на редколлегии. Тогда, в ту лихую годину, духовность вышла из застенков и была очень востребована в ширмассах.

А Викуся с тех пор как-то притихла, одумалась, остепенилась, перестала лихорадочно искать мужа и стала простой прихожанкой. Нет, все-таки не простой! Образцово-показательной. Когда она в скромненьком белом платочке шла к Причастию, или несла святить яички, или вербочки, или христосовалась со знакомыми, пропев «Христос воскресе», редкая дама-прихожанка могла удержаться, чтобы не ущипнуть Викусю за локоток и не воскликнуть: «Душечка! Какая матушка бы из тебя, душа моя, вышла!» А кавалеры ничего не говорили, только незаметно втягивали животы и христосовались с особым, особым, особым удовольствием!

И, знаете ли, даже некоторая появившаяся с возрастом дородность очень Викусе пошла к лицу.

ПАНКЕТКА ВИОЛЕТТА

Мы с ней не то чтобы дружили, просто тусовались в одной компании. Она была родом из крупного российского портового города и всем говорила, что ее отец — капитан дальнего плавания. В советском и особенно раннем постсоветском обществе это был не просто социальный статус. Это была торговая марка и знак качества одновременно.

Ее звали Виолетта. У нее была внешность маленькой парижанки: стрижка-каре с челкой до бровей, тонкие мальчишеские запястья, красивой лепки скулы, пристрастие к темно-бордовой, почти черной помаде, хрипловатый голосок и смешная привычка все время хохлиться как воробушек.

А в декорациях у нас значился совсем не Париж, а brutальный Ебург начала девяностых, и обдолбанные ангелы бродили по его тротуарам, волоча подбитые крылья.

Виолетта, впрочем, была совсем не простушка и довольно искусно культивировала образ «Принцесса в гадюшнике». Наша общага была еще тем гадюшником, надо признать. Например, свои заграничные бусики, надушенные шелковые платочки, туфельки 35-го размера и чулочки с кружевными резиночками Виолетта хранила, как сейчас помню, в большом кособоке и почерневшем тазу под кроватью. Когда затевалась стирка, Виолеттино добро грудой высыпалось на кровать и таз использовался по его прямому назначению.

В нашей компании мы все были бесприютные дети. Мы влюблялись друг в дружку и часто менялись одеждой — без спроса: у нас тогдашних было смутное понятие о частной собственности. Виолеттины вещички никто не

надевал: ни на кого не налазили. Сама же Виолетта с удовольствием носила свитера подруг. Тогда не слыхивали про стиль «гранж» и одежду «оверсайз». Крошка Виола в шмотье с чужого плеча была первопроходцем стиля. Я думаю, это был такой неосознанный мэссэдж миру: не ешь меня, Серый Волк, я маленькая девочка, я ни для кого в этом мире не представляю угрозы, разве что для себя самой, я просто немножко заблудилась, кругом леса, а до Парижа еще сорок лье пути...

Никто из наших бы не удивился, если бы Виолетта поигралась-поигралась да нашла себе денежного папика. Но программа засбоила, и на последнем курсе Виолетта влюбилась в плохого парня по прозвищу Хмурый Боров и затусовалась с панками.

Однажды они завалили в общагу всей гоп-компанией. Я заглянула на огонек в самый разгар веселья, и дивная картина открылась мне в клубах сигаретного и прочего дымов. Гремела музыка, все пили и орали. Хмурый стоял и мочился на кровать Виолеттиной соседки — тихой, застенчивой девочки. Девочка чуть не рыдала, сдерживаясь из последних сил. В центре роковой хрупкая Виолетта. Она нюхала розу и улыбалась. Чему она улыбалась, я так и не поняла. На мой субъективный взгляд, впору было выпить яду и бежать прочь.

После этого случая мы перестали общаться. Виолетту подвергли остракизму и запретили приводить панков. Она собрала вещички и съехала к своему хмурому-понурому милому. А там и преддипломная практика подоспела, следом — защита, выпускной, — мы разлетелись кто куда и потеряли друг друга, а Виолка так вообще исчезла с радаров. Тогда это было запросто: большая страна рассыпалась как карточный домик, все летело в тартарары, почта работала из рук вон. Письма терялись, не находя адресата. Междугородние звонки были не по карману. До меня доходили отзвуки слухов, что Виолетта очень нуждалась в этом своем портовом городе и даже какое-то время зарабатывала мытьем полов. Больше я ничего о ней не знала.

Мы нашлись четверть века спустя, случайно, благодаря фейсбуку. Я написала пост про приходские сплетни и «гражданский брак», — это когда люди сходятся и живут, не ставя государство в известность. Церковь такие отношения, даже многолетние, почитает за блуд. Разразилась кровавая сеча. В комментарии пришли разные люди, и многие между собой переругались, и многие души были загублены, и другие многие были забанены и забыты.

Какая-то женщина особенно зло отшлепала меня как автора, «пропагандирующего разврат». Меня поразил ее менторский высокомерный

тон. Надменная комментаторша показалась смутно знакомой. Я открыла ее аккаунт и обомлела. Это была Виолетта. Правда, теперь ее звали Мария, как Богородицу.

Она здорово изменилась: в платочке, юбка до пят, все больше на фоне каких-то старцев и монастырей. Рядом с хрупкой Виолеттой маячил здоровенный мужик, бородатый, под скобку стриженный. Одет мужик был в осовремененную версию косоворотки. Мать моя женщина, то ж Хмурый! Счастливая православная семья. Я побродила с открытым ртом по гулким выставочным залам чужой жизни, разглядывая фотоэкспонаты, потом погасила свет и вышла на цыпочках.

Я поняла, что с Виолеттой случилось какое-то несчастье. Такая надменность служит защитной броней, как правило. В принципе, я поняла ее, Виолетту. Ведь и я такая же. Я так же пришла в Церковь спасаться — от самой себя, от всех моих демонов, гнавшихся по пятам. И там, в спасительной пропахшей ладаном полутьме, нашла, как мне казалось, приют и защиту.

Быстро выяснилось, впрочем, что чувство защищенности оказалось фальшивкой. Мои демоны, отступив для видимости, взбодрились и густо заколосились, удобренные обильным чувством вины, прямо под исповеднической епитрахилью. На место одного пришло семь более злейших, и спрятаться от них было уже негде. Осталось только растолочь себя в мелкую пыль и прильнуть, поскуливая: не ешь меня, Страшный Бог, не ешьте меня, демоны, я маленькая глупая девочка, я так и не вырулила в этой жизни, я ничто и никто, отрекаюсь от себя.

Но сказать такое язык не поворачивался. И тогда я подумала, что, может быть, Богу совсем не надо, чтобы я истолкла себя в пыль. Мелькнула крамольная мысль, что Ему вообще от меня ничего не надо. Может быть, самое разумное — оставаться сидеть на старой доброй «наркоте», я имею в виду мое чувство Бога Любви, который никого ни за что не карает. Который сходит с креста, чтобы обнять тебя окровавленными руками. Который знает нас как облупленных и не требует больше, чем каждый из нас может дать.

И пусть я потом сильно обломаюсь, пусть мой Бог для слабаков и городских невротиков, но я не хочу иного Бога. Я Его, такого вечно недовольного, раздраженного и мстительного, просто не вмещу. Ничтоже сумняшеся, я взяла и забанила Бога-Страшного судию до самого Страшного Суда.

Виолетту я тоже, кстати, забанила. Ее (вернее, последнюю ее версию) я тоже не вмещу...

МАРИНА-СУБМАРИНА

Между рыбной солянкой по-монастырски, пирогом с кетой и картофелем, щучьими котлетками и меренговым рулетом с вишней заговорили о духовидцах и прочих визионерах. Люди любят поговорить о духовном после сытного и вкусного обеда. Так вот, духовидцы. Как оказалось, практически все поедатели меренгового рулета хоть однажды, но вступали в контакт с завсегдатаями высших сфер, а некоторые даже получали от них духовную помощь и напутствия.

Я тоже встречала в Церкви людей, которые, как мне казалось, видят ангелов наяву. Собственно, знание об этих людях — те самые золотые якоря, которые до сих пор держат меня в Церкви, хотя я уже увидела ее некрасивую изнанку: илистое дно, не слишком приятных или даже опасных глубоководных обитателей, остовы давно затонувших прекрасных кораблей. Почему-то вспомнилось про Марину.

Марина-субмарина, знаешь, хочется верить, что ты не затонула, не разбилась об острое и колючее, что ты просто временно нырнула на дно и обязательно выплывешь к свету, когда он позовет тебя через толщу мутной зеленой воды.

— А знаете, я была знакома с девушкой, которая сначала хотела пойти в монахини, а потом стала шаманкой. Хотите расскажу?

— Расскажите, конечно, расскажите, — попросили гости за столом, а хозяйка ради такого случая заварила добавочный чайничек свежайшего чая.

С Мариной мы познакомились еще будучи студентками первого курса. Надо сказать, в те баснословные времена журфак нашего универа представлял собой практически филиал Хогвартса, производящий странных людей поточным методом. Марина умудрялась выделяться даже в этой экзотической среде.

Едва взглянув на Марину, становилось понятно, что человек живет духом. Ей было все равно, что носить и все равно, что есть. Ела Марина удивительно мало, наедаясь буквально горсточкой. Бывало, прибежит, запыхавшись, с мороза, притулится к уголку стола с чашкой чая и сидит, руки замерзшие греет.

— Мариш, ты чего ничего не ешь?

— А? — очнется Марина. — Ну, дайте чего-нибудь, поем...

— Ты извини, — вскинется кто-то, — тебе пирог оставляли, но тебя долго не было, кто-то сожрал, ну что за люди такие, ничего оставить нельзя?

— А, какая фигня, — легко отвечала Марина, — я и есть-то не очень хочу.

А ведь весь день не ела. В библиотеке просидела, до самого закрытия.

К нарядам и всяким женским украшениям Марина была равнодушна до легкой презрительности. Это при том, что девичью свою привлекательность она осознавала и всякими комплексами на этот счет отнюдь не страдала. В родительском доме Марину одевали дорого и богато. Как-то с каникул она приехала в настоящей меховой «щюбе», что было крайне вызывающе по тем временам.

— Маринка, дай щюбу погонять, у меня свидание сегодня вечером.

— Бери, конечно, — кивала Маринка, — я ее все равно не ношу, я в ней как кустодиевский купец, только без бороды, а тебе — хорошо.

Вместо «щюбы» всю зиму Маринка бегала в бесформенном китайском перьевике. Половина Ебурга в таких тогда бегало.

Характерно, что при полном пофигизме к материальным благам Марина вовсе не была блаженненькой дурочкой. Напротив, вся ее фактура изобличала крепко сбитую уральскую девицу, с твердым характером, устойчиво стоящую на ногах и легко ступающую по земле. У нее были хорошие мозги, и в практических вопросах она демонстрировала завидную хватку.

Родом Марина происходила из небольшого северного городка, чье население практически поголовно обслуживало завод-гигант. Маринкин отец служил там в топ-менеджменте: то ли замдир, то главный инженер. Семья была зажиточная, с традициями, безо всяких там глупостей, и было странно, что в этом огороде меж грядок с луком и помидорами затесался и расцвел чудной этот цветок.

Когда Маринка начала встречаться со своим парнем Славиком, и это было «серьезно», ее родители сильно заперевживали и настояли на знакомстве с возможным женихом. О встрече с «родоками» Марина рассказала с присущим ей юмором:

— Выходим мы с Славиком такие из вагона, а на перроне стоят Пап, Мам и Систер, все трое в норковых шапах по страшинству: у Систер шапа пониже,

у Мам — повыше, а Папас практически в генеральской папаше. Как три медведя. Смотрят они на нас пристально, и Папас говорит: «Ну, звездац, доча, самый неликвид выбрала». Прямо при Славике.

Как вы понимаете, благословения на сей мезальянс Марина в отчем доме не получила. Но не расстроилась, потому что именно в тот период у нее возникла идея — уйти в монастырь.

— Марин, это ты зачем такое? Из-за несчастной любви, да, Марин?

— допытывались мы.

— Из-за какой-такой любви? — морщилась Маринка. — Придумаете тоже.

— А зачем тогда в монастырь?

— Понимаете, — говорила Марина, — как бы так объяснить? Потому что все остальное просто бессмысленно.

— Что?

— Все, — отвечала Марина и делала плавный жест рукой, обводя окружающий мир.

Помню, она долго и вдумчиво выбирала себе подходящий монастырь: интернета ни у кого тогда не было. Приходилось опираться на народную молву.

Молва донесла, что есть один монастырь, очень хороший, с сильной игуменьей и строгими порядками. Недалеко, всего ночь одну на поезде. Маринка решила съездить туда на разведку в ближайшие выходные, аккурат дело было в рождественский пост.

Вернулась паломница наша в полночь. По ее лицу мы сразу поняли, что что-то пошло не так.

— Ну что, — спрашиваем, — как монастырь? Подходящий?

Марина разулась в прихожке, прошла в комнату, размотала длинный шарф, все это молча, с напряженным драматичным лицом.

— Маринка, не томи! Как монастырь, понравился?

— Там капустой воняет! — проговорила Маринка и скривилась от отвращения.

— Какой капустой?

— Тушеной, вареной, откуда я знаю, какой! Везде воняет капустой. Понимаете, везде! Мне кажется, я вся насквозь пропахла этой долбанной капустой, — почти прокричала Марина.

Больше никто вопросов не задавал. Все как-то сразу врубилось, что дело не в капусте как провианте, а в капусте как символе. Тушеную капусту мы, к слову, очень любили, и часто готовили ее от нашей бедности, тем паче, что знакомые торговки отдавали бесплатно целые подмороженные кочаны.

Однако капуста не встала непроходимой чащей на духовном пути Марины, и после поездки в монастырь она зачастила в храм, полюбив храмовую службу и очень уверовав в силу церковного ритуала.

— Сходи на службу, поставь свечечку, — советовала Марина подругам, когда у них начинались какие-нибудь напруги.

Ее не понимали.

— Ну как можно относиться к этому серьезно? Это же типа того, национально-культурная традиция, всего лишь.

— Не скажи, — Маринка взглядывалась в вопрошающего пристально и строго. — Ритуал — это очень даже серьезно. И это реально работает.

— Как?! Ну как это может работать?

— Ты не обижайся, но ты не поймешь.

— Чего это не пойму?

— Того. Не поймешь и все. До этого дорасти надо.

Как ни странно, на Маринку не обижались, наверное потому, что в ней напрочь не было высокомерия. Сложность внутреннего устройства была, а вот высокомерия — ни капли. Маринка вообще была хорошая. Всем помогала, никого не осуждала. Ей нравилось возиться с людьми, опекать, делиться, поддерживать. Она даже в мальчика влюбилась намного слабее себя, и долго верила, что сможет передать ему часть своей силы. Но чуда не случилось.

Родив от своего беспонтового Славика дочь, Марина решила воспитывать малютку одна, героически с лялькой на руках закончила универ и уехала на ПМЖ в красивый город на большой русской реке. К тому времени, как мы снова стали переписываться, много воды в этой самой реке утекло. У меня тогда был сложный период, смерть стояла у меня за плечами и жарко

дышала в затылок. Марина возникла, как проводник в царство мертвых и протянула дружескую руку: «Пойдем!»

Тогда и выяснилось, что она достаточно давно и серьезно практикует шаманизм. У нее был учитель в Тыве, к которому она периодически ездила, типа, на практику, а в остальное время переписывалась при помощи гугл-переводчика. Тывинский гуру плохо разумел по-русски. Оказалось также, что в Тыве многие шаманы крещены в православии и на праздники строем ходят в церковь. Духи духами, но с Большим Белым Богом ссориться не резон. Маринкин учитель не ходит, он считается очень сильный шаман.

— Пожалуйста, отнесись к этому серьезно, — написала мне однажды Марина. — Я говорила с учителем про тебя. Он сказал, что из тебя получится хорошая шаманка. Он с духами говорил. Надо выбрать тотемного зверя и пройти ритуал инициации.

— Я люблю зверей. Но я не хочу быть шаманкой, — засмеялась я.

— Тогда ты умрешь, — отвечала Марина с ясностью расстрельной команды ВЧК. — Духи заберут тебя, если ты не станешь служить им.

— Господи, Маринка, да я не верю в эту белиберду.

Духи почему-то не забрали меня до сих пор. А с Мариной мы все-таки, благодаря случаю, увиделись. Она написала, что будет в нашем городе — проездом в свою Тыву. Стоянка поезда 20 минут. Я вообще люблю дешевые эффекты, и мне представилось: черная ночь, я стою на перроне, подходит поезд, испуганный проводник распахивает дверь, из вагона спускается женщина с веревочками на глазах, достает из-за спины бубен и пускается в дикий пляс, а мы с проводником жмемся друг к дружке и превращаемся в пару хорьков...

Но был белый день, и Марина оказалась практически той же Мариной, какой я помню ее с времен юности, только совсем седой. Редко кому из женщин так идет седина, надо признать.

На прощанье Марина протянула мне увесистый предмет, завернутый в черную тряпицу.

— Что это? — я инстинктивно отодвинулась.

— Камень твоей Судьбы, — Марина торжественно развернула тряпицу.

— А чего он страшный такой?

— Он такой и должен быть. Ты его, главное, лишний раз руками не трогай. Но беседовать можешь. Он это любит. Прохор его зовут. Для тебя просто Проша.

И в карман мне каменюку этого — чпок!..

Когда судьба в виде проводника-тывинца разлучила нас, остались мы с Прохором вдвоем на пустынном перроне. Очень он мне карман тянул, помню.

— Не обижайся, — говорю, — Проша, но лучше тебе пока под кустиком пожить. Я к тебе в гости забегать буду, может быть.

— Неужто выбросила Прохора? — ахнула дальняя родственница хозяйки Ульяна Филипповна, ответственная работница акимата. — Это же ты, получается, судьбу свою выкинула?

— Получается...

— А что на это Марина сказала?

— Ничего, — пожала я плечами, — больше я Марину не видела, — и положила себе еще меренгового рулета.

— Мерзость перед Господом эта ваша Марина! — проворчал господин В-ский.

— Ну почему сразу — мерзость, Колясичек? — всплеснула пухлыми ручками супруга В-ского Таня, тетечка простая и славная. — Просто у вас в церкви женщина за человека не считается. А у нее, может, сильные экстрасенсорные способности, у нее натура, организм требует.

— Какие еще способности? — с досадой протянул господин В-ский. — Ну что ты несешь вечно пургу какую-то, стыдоба одна?

— А я все думаю, почему она из Церкви-то ушла, — задумчиво молвила интеллигентная девушка Сашенька. — А что если она, действительно, чувствовала в себе силы служить своему божеству, сама, понимаете? А что ей в Церкви могли предложить: глаза опустить, платком-юбкой занавеситься и — молчи, женщина. А ей хотелось самой стихиями рулить. Вот и я, иной раз, что-то в себе такое ощущаю...

— И все-таки зря ты этот камень выкинула, — авторитетно резюмировала Ульяна Филипповна. — Я бы сходила, подобрала, мало ли? За иконкой дома положишь, пусть себе лежит, ауру в квартире очищает.

И все сошлись на том, что Прохора лучше сходить подобрать. Даже господин В-ский — и тот, подумав, согласился...

НИКА

Бывают такие летние дни, когда в воздухе словно растворен веселящий газ. Чем больше дышишь — тем беспричинно счастливей становишься. Типа неизвестный науке феномен, может, и правда чо распыляют, кто их знает, для повышения урожайности сельхозугодий?..

Ника вышла из автобуса на конечной дачной и оказалась в таком дне. Она решила, что когда придет пора умирать, она будет лежать и вспоминать сегодняшний день, весь-весь, в мельчайших подробностях: армады облаков, холмистый рельеф, ветер, жаркий, как электрофен, и ни одной живой души окрест.

Ника шла по безлюдной тропинке и имела интимные отношения с ветром. Ветер гладил шею прохладными длинными пальцами, задерживался на ключицах, выводя на них тайные вензеля, целовал в затылок так, что под кожей взрывались крохотные шипучие бомбочки, и волны мурашек разбегались по разгоряченному телу.

Она вдруг подумала: нафиг вообще все, — сбросила рюкзак и одним рывком освободилась от майки. Под майкой ничего не было.

— Ну, как я тебе? Нравлюсь? — с вызовом спросила она.

Ветер отступил на шаг-другой и ответил без слов: «Очень!» Ника была красивая. Все еще красивая. Смерть жила где-то глубоко в ней, затаилась и не показывалась наружу. Все так же хороши были маленькая грудь, и впалый молодой живот, и изгиб бедер. Казалось странным и невозможным, что это прекрасное тело скоро начнет увядать и страдать, что оно вообще способно к страданию. Сейчас оно было прекрасно, щемяще прекрасно, и отлично, надо сказать, функционировало.

Ника запихала майку в рюкзак, надела лямки на плечи, и продолжила путь топless, в шортах и кроссовках на босу ногу. Ветер совсем разошелся: трепал длинную челку, кидал на глаза, и пришлось стянуть волосы в хвост одной из резинок, которые Ника всегда носила на правом запястье.

Идти было легко и весело, и Ника засмеялась от удовольствия.

Ей показалось, что она не чувствует своего тела, что она не идет, а медленно летит в горячем воздухе, пропахшим цветением июньских холмов.

Впрочем, безлюдье, которое так ахнуло Нике в голову, было иллюзией.

Вскоре в траве тут и там замелькали многочисленные извилистые тропки.

Деревня явно была поблизости. Из низинки вылетел краснощекий юный велосипедист, пацан лет 15-ти, зажмурился и едва не слетел с седла через руль. Мальчишка притормозил ногой, замер и смотрел на Нику во все глаза. Он был невинен как ветер.

Ника прикрылась руками крест-накрест и рассмеялась. Веселящий газ не думал уходить из ее головы.

Парнишка надвинул кепку на глаза:

— Я не смотрю, подумаешь, — пробормотал он. И добавил: — Не бойтесь.

— А кто боится? Ты лучше скажи, я вообще правильно иду?

— Правильно.

— Но я не спросила, куда?

— Так ведь в Голощекино, разве нет? Тут одна дорога, других нет. Как ни пойдете, все одно придете в Голощекино наше.

— Понятно, — смутилась Ника. — Отвернись, пожалуйста, я оденусь, ага?

— Ага, — кивнул парнишка и старательно отвернулся, так что шея хрустнула.

— А вы к кому в Голощекино? В гости к кому-то?

— Нет, не в гости, — Ника натягивала майку, и голос получился скомканный, как она. — Я к священнику к вашему.

— К комууууу?!

— К священнику. Отец Семен, кажется...

Парнишка присвистнул.

— Батя Семен уже больше года как помер.

— Как помер?

— Да как все люди помирают. Обыкновенно. Что с вами? Вы очень расстроились?

— Вообще-то очень. Так расстроилась, что прям расплачусь прям тут вот.

— Не, ну вы чего? — вскинулся пацан. — Не надо! Он же давно уже умер. Правда, к нему до сих пор люди идут. Жалко, конечно.

— Что жалко?

— Что вы опоздали.

— Ну опоздала и опоздала. Что ж теперь. Тебя как зовут?

— Андрей.

— Спасибо, Андрей, приятно было, так сказать... Ну давай, пока... Тебе налево, мне направо.

— А вы куда? Назад, что ли?

— Назад, назад... на автобус я уже не попаду, так хотя бы на электричку успеть.

— Пойдите! — Андрей догнал Нику и робко пошел рядом.

— Чего тебе?

— А вы не сказали, как вас зовут?

— Тетя Ника, — усмехнулась она.

— ТетьНика, зачем вам уходить, мой отец вас легко до города подбросит, куда скажете. Он через час молоко на молзавод повезет, у него как раз место в машине есть.

— Смешной ты. Спасибо тебе, конечно, но вот что мне прикажешь целый час здесь делать?

— А... ну хоть к отцу Феоне зайдите, его на замену к отцу Семену прислали.

— Феона? Это как принцесса из мультика про Шрека?

— Ага, — засмеялся Андрюшка.

— А почему у него женское имя?

— У Феоны? Я не знаю, он же этот, как его, монах, а у монахов всегда странные имена.

— Не, Андрюха, не пойду я к Феоне к вашему, ничего не выйдет. Даже не уговаривай.

— Хотите сказать, зря из города в такую даль по жаре тащились? Садитесь, я вас прямо до дома подвезу, садитесь, у меня багажник удобный.

Нике показалось, что легкое непринужденное летнее приключение продолжается, и она запрыгнула на багажник, ухватившись за Андрейкину спину.

— А этот, Феона, он чем знаменит? Чудеса он умеет?

Они полетели с холма, радуясь беспричинно, как птицы.

— Еще как умеет! — рассказывал Андрей, пытаясь перекричать ветер.

— Один раз поехал с мужиками карасей ловить. Ну, там выпили, и отец Феона решил их покрестить, мужиков-то. Чуть втроем все не потопли. Дед Николай их чудом заметил и на берег вытащил, всех троих. Феону откачивать пришлось, воды нахлебался.

— Так он пьющий что ли, Феона?

— Не, не так чтобы пьющий. Ему же нельзя сильно пить-то. И потом он у бабки Лены живет, она строгая, у ней не закосячишь. Вот, кстати, дом ее, бабки Лены, мы уже приехали, слезайте.

Ника попрощалась с мальчишкой, договорилась о времени, когда его отец поедет в город, достала из рюкзака платок, длинную широкую юбку, обмоталась в несколько слоев и лишь потом постучала в дверь скособоченной от ветхости избушки.

Дверь открыла старая женщина с бледным и злым лицом.

— Здравствуйте, я могу увидеть отца Феону? — вежливо спросила Ника и автоматически одернула на себе дурацкую юбку.

— Отца Феону-то? — тетке явно эта идея была не по душе. — А нету его! Уехал на рыбалку. Службу отслужил и уехал.

— А как же мне быть? Он скоро вернется?

— А я откуда знаю? Может, до ночи не вернется, я-то что? А ты из города, что ли?

— Из города.

— Чего хотела? Исповедаться, что ли?

— Исповедаться.

— Ну, дело ясное, — высказалась тетка. — Наблюдят, напакостят, да так, что стыдно своим городским батюшкам в глаза смотреть, и ищут таких бирюков, как наш, чтобы все нечистоты слить.

— Зачем вы так?

— А я знаю, что говорю. Я еще и похлеще тебе скажу: сливной бачок ты ищешь, вот что!

Старуха ушла в дом, оттуда слышались какие-то крики и шум. Крики усилились, и минут через десять вышел мужчина в рыжем подряснике, кудлатый и сонный.

— Это вы меня спрашивали? — спросил он, глядя куда-то в сторону.

— Я.

— Зачем?

— А фиг его знает. Сейчас уже не уверена, надо ли?

— А чего хотела?

— Исповедаться.

— У меня? — удивился Феона.

— Не, не у вас. У отца Семена. Я ж не знала, что он умер.

— Вот оно что! — с облегчением выдохнул отец Феона. — Ну, конечно. Покойный батюшка-чудотворец. Ну, конечно. Вот вам не повезло маленько, правда. Обратно придется ехать, матушка, я мертвых оживлять не умею.

— Ну уж нет.

— Что — нет?

— Не поеду я назад. Вы священник, вот вы меня и исповедуйте.

Отец Феона сел на завалинку и поскуцнел, весь словно сдулся. Оказалось, что у него голубые-голубые глаза в рыжих ресницах: глядят как васильки с некошеной межи.

— А вы вообще готовились? Три дня постились, молились, каноны читали, с мужем не того?

— Не того. Нет у меня мужа. Короче, не старайтесь, батюшка, не отвертеться вам от меня, придется исповедовать...

— Жди здесь, — Феона запахнул болтающийся подрясник и ушел в дом. Вернулся уже в старенькой епитрахили и поручах, буркнул: — Пошли, чего... раззявились.

В деревенском храме на окне буйствовала герань, иконостас был бедный, из дешевых бумажных иконок, украшенных фольгой. Феона вынес из алтаря крест, евангелие и маленькую складную табуреточку, скороговоркой прочитал молитву, разложился и сел рядом с аналоем. На кающуюся грешницу он не смотрел, изучал свои выдавшие виды ботинки.

— Говори, чего там у вас?

Ника растерялась. Она себе представляла, что все будет иначе. Подруга Маша рассказывала чудесное про старенького доброго батюшку Семена, который поплачет с человеком, помолится и обязательно будет облегчение, даже у безнадежных. Нике показалось, что ее жестоко обманули. Не Маша, нет, а вообще. Не бывает никаких добрых дедушек, если были, то все поывелись, а вместо них водрузились равнодушные раздраженные люди, которые хотят лишь одного — чтобы ты быстрее оставил их в покое. Чтоб ты сдох вообще поскорей.

Ужас от того, что ей сейчас придется рассказывать свое сокровенное этому человеку, оказался настолько сильным, что Ника разозлилась.

А разозлившись, плюнула про себя: к черту политесы, буду говорить все, как есть, не смягчая выражений. Она даже голос не понизила почти, да и не от кого было таиться в пустом и гулком пространстве храма. И странно звучала ее история здесь, среди этих икон, наверняка привыкших к другим голосам и другим историям.

— Ну, закончила, что ли?

— Закончила...

— Я не могу принять вашу исповедь, — резюмировал Феона, раскачиваясь на своей табуретке, — не могу. Бейте меня, плюйте в меня, я не приму вашу исповедь никогда.

— Да не буду я в вас плевать, что вы! — испугалась Ника. — Вы только объясните. Ведь я не убила никого, не замучила, воровать не воровала, книжки из библиотеки не в счет. Блин, я даже аборт не делала ни разу! Почему нет? Что я, я хуже всех, по-вашему?

— Да, вы хуже всех, — набычился Феона, глядя в пол. — Вы чудовище, вы... вы даже не раскаиваетесь в том, какое вы чудовище! Зачем вы этой женщине, соседке по палате, сказали, с помощью каких таблеток она может с собой покончить? Ведь это грех, страшный грех! Зачем вы это сделали?

— Затем, что у нее метастазов полная голова, — терпеливо объяснила Ника.
— И хосписа нет у нас. И с обезболиванием не просто плохо, а очень плохо. Она все у медсестер пыталась узнать, но ей же никто ничего не говорил, никто не хотел ответственность брать, все сказали: ааа, ты-то заснешь, тебе хорошо будет, а нам такой грех страшный на душу брать, вовек не отмолишь.

— И правильно сказали, между прочим! Каждый свой крест должен нести, понимаешь, свой, а не чужой. Вам-то что, вы о своем спасении думать должны. Вот наглотается она этих таблеток, с нее спрос маленький, а вам Христос скажет: «Ты кто такая, не знаю тебя!»

— Не наглотается. Эта? Не наглотается. Я же знаю, кому можно говорить. И потом, если такая пьянка пошла, знаете что? А мне пофигу мое драгоценное спасение, — зло ответила Ника. — Я просто никогда не забуду, как она ко мне наутро пришла, ну, после того, как я ей рецепт подробно расписала, как заплакала и говорит: спасибо тебе, спасибо, что я впервые за долгое время заснула счастливая. А знаете, почему она заснула счастливая?

Феона молчал.

— Знаете... Все знаете, только врете. Вам наверняка, лучше было бы, спокойней, если бы я ей евангелие в кармашек положила и сладкую рожницу скорчила...

— Перестаньте, вы не можете так говорить о Нем, вы не смеете, вы, человек безнадежно далекий от Христа...

— Так помогите мне поверить в Него! Вы же учились столько лет. Заклинание, какое, что ли, прочитайте!

— Зачем вы глумитесь, ну зачем? Я понимаю вас.

— Простите. Я от отчаянья. Вот вы говорите, что понимаете. А вы не понимаете. Вот у меня рак, неоперабельный. Сказали, сколько проживешь, столько проживешь. А сколько я проживу, никто толком не говорит. Значит, в любой момент может все кончиться. Все, понимаете! А я не хочу, чтобы кончилось.

— Ну как же не хотите? — устало проговорил Феона. — Вы вон даже в рай не верите. И в ад.

— Не верю, — упрямо повторила Ника. — Не верю я в этот коллективный рай, который на ваших иконах рисуют. Потому что это колхоз. Я, знаете, в какой рай верю? Рассказать вам, вам это вообще интересно?

Феона осторожно кивнул.

— Я хочу, чтобы море и пустынный берег. И чтобы рядом человек, которого я люблю. Всю жизнь его одного любила. И чтобы все мои собаки, которых я по очереди хоронила, хоронила и верила, что мы с ними обязательно встретимся. И чтоб можно гулять без ошейников и намордников. Ну да, без намордников, это же рай. И чтобы любимые книги на столе, а сверху яблоня цветущая осыпается. И все вокруг в этих полусохших лепестках. И ноги вязнут в песке. И ветер с холмов. И ребенок... Нет, с ребенком я все-таки не разобралась. Я не знаю его, я его живым-то практически не видела, я его даже немного боюсь. Нам не дали времени полюбить друг друга. Очень мало времени. Если в раю времени не будет, я знаете, что первым делом сделаю? Выброшу свои часы в море.

— Девочка? — спросил Феона.

— Девочка, — усмехнулась Ника. — Ну то есть я для себя точно знаю, что девочка, но я у них не спрашивала, зачем? Да они бы и не сказали, наверное.

— А я вот алкоголик, — неожиданно ляпнул Феона. — От меня жена ушла. С тремя детьми.

— Сочувствую. И что мы с вами будем делать, товарищ Феона?

— Совсем ты дикая баба, как я погляжу, неотесанная какая-то! — вздохнул Феона. — Как тебя хоть зовут-то?

— Ника...

— Данное имя — языческое.

— Ника — богиня Победы, между прочим.

— Баагиня! Иисус смерть победил, а никакая не богиня. Крещена как? Вероникой?

— Вероникой.

— Голову наклони, раба Божия Вероника. И проси прощения у Бога, как можешь, можно своими словами.

И властью, вверенной ему Господом, недостойный иерей Феона простил и разрешил рабу Божию Веронику от всех грехов, во Имя Отца и Сына и Святого Вездесущего Духа.

— Отец Феона, — позвала Ника, когда таинство было закончено. — Можно я вам кое-что скажу? Это важно, вы только не отмахивайтесь! Я знаю, как в рай попасть.

— Я тоже знаю, — равнодушно отозвался Феона, собирая крест и Евангелие с аналоя и пряча под складками своего одеяния.

— Вы не так знаете. Вы так не попадете, как вы думаете.

Феона остановился и посмотрел на Нику тяжелым взглядом.

— Ну?

— Надо накопить определенное количество состояний блаженства. Это как очки в компьютерной игре.

— И как их накопить?

— Любить. Любить и делать глупости во имя любви. Чем больше тут наглупишь, по меркам этого мира, тем там больше очков срубишь.

— Я ж говорю, дура-баба, — заулыбался Феона, и улыбка у него оказалась детская и смешная, одно слово — мультяшная. — Сведения эти, чтоб ты знала, врагом тебе были внушены, а ты повелась. Откровения от Бога только ангелы имеют и святые Его.

— А я, может, ангел и есть. Эх, не доглядел ты, отец Феона, а ведь непосредственное начальство надо знать в лицо, — Ника сделала опешившему отцу книксен и, размахивая сдернутым с головы платком, пошла, пританцовывая, к площади у автостанции, где колонна молоковозов выстроилась перед отправкой в город.

МАДАМ БОВАРИ

В местном Теле Христовом, то бишь многолюдном приходе Н-ского кафедрального собора, Кирсанна была самым высококачественным, добротным и ладным органом. Не орган, а мечта черного трансплантолога.

Когда она, потупив очи и часто крестясь, переступала церковный порог, доставая из сумочки носовой платочек, по храму тотчас разливался дивный

аромат — симбиоз торжества православия и французской парфюмерной промышленности.

Одета Кирсанна всегда была скромно, но в меру. Никаких балахонистых тряпок. Шанелистая юбка слегка прикрывала худые породистые колени. Простые туфли-лодочки на небольшом каблучке деликатно цокали по кафедральной плитке. Этот звук ласкающе действовал на уши прихожан, словно кто-то большой и добрый, впавши в транс, щелкал пузырьки на полиэтиленовой упаковке. Цок-чпок-чпок, цок-чпок-чпок.

Голову Кирсанны покрывал шелковый платочек от Эрмэ, повязанный кокетливым широким узлом чуть сбоку, — казалось бы, малость, но сколько изящества и стиля.

Лицо Кирсанны лучилось улыбкой царственного доброжелательства ко всему сущему. Она вся была как обещание рая на земле. Красивого благополучного и сытого рая на красивой благополучной и сытой земле.

«Очень верующая эта женщина», — млели храмовые старушки, которым Кирсанна периодически делала маленькие презентики. Презентики были выдержаны в духе православия, самодержавия и народности. Ну там свечечки для домашней молитвы в красивой коробочке, подставочки для пасхальных яиц, скатерочки с кроликами и цыплятами для праздничной трапезы, иконки с изображением Царственных Страстотерпцев.

— Не благодарите, — предостерегающе вскидывала Кирсанна узкую ладонь.
— Мне ничего не стоит, а вам приятно. И потом, разве все мы тут не одна семья? Не одно Тело Христово?

Приходя домой со службы, Кирсанна не переставала лучиться и обещать рай на земле. Теперь уже своим домашним.

— Как нынче пели! Невыносимо прекрасно, чудно, чудно! Я проплакала всю службу. Я не говорила тебе? Сам Владыка служил, вот это я удачно зашла, — ворковала Кирсанна, сбрасывая пальто на руки супругу. Красивым отточенным жестом, подсмотренным во французском кинематографе.

Муж Кирсанны, ответственный работник, делал сложное лицо. Дети уважительно помалкивали, тайком корча рожицы и закатывая глаза. Все знали: у мамы — духовные запросы.

Местные священники ждали исповеди Кирсанны, как фанаты сериала о тайнах аристократических, но порочных семейств ждут выхода новых серий. В скучной череде скучных грехов простых людей города N покаяния

Кирсанны были театром одной актрисы, эмоциональным катарсисом и вообще лучом света в темном и гулком пространстве старого храма.

Священников, принимающих исповедь, было обыкновенно трое.

По правилам детективных романов, первый имел амплуа злого следователя, второй — доброго. А третий и вовсе был святой. В этом были убеждены все приходские дамы. А они на сей счет никогда не ошибаются.

К доброму падре всегда выстраивалась огромная очередь. К злому — очередь втрое меньше, в основном, невротики и духовные мазохисты.

К святому — практически никого никогда не было.

Кирсанна ходила ко всем троицам по порядку. К исповеди она готовилась самым тщательным образом: пшикалась злыми ладанными духами с ярко выраженной готической бальзамической нотой, обматывалась черным кружевным палантином и надевала затемненные очки. В этом наряде она походила на вдову главаря сицилийской мафии.

Встречая Кирсанну, батюшки, томящиеся за аналогиями, непроизвольно выпрямлялись и делали скучающее лицо.

— Батюшка, благословите, я решила уйти в монахини, — огорошила Кирсанна «доброго следователя».

— Ну что вы? Как же так? А семья? Муж?

— Я договорюсь с мужем, он меня отпустит. Мы давно уже чужие люди. Он не понимает меня, я для него просто мясная кукла, понимаете?

Батюшка, недавно закончивший семинарию, покрывался краской, но в полутьме храма это было не очень заметно.

— Позвольте, но — ваши дети?

— Они уже совсем взрослые. Я уверена, что со временем они поймут свою мать. Это ужасно — жить без духовных запросов. Господь умер за нас на кресте, а мы? Что делаем мы? Покупаем чесночную колбасу!

Столько экзистенциального ужаса было в этой чесночной колбасе, что добрый батюшка только руками разводил и предлагал еще раз все хорошо взвесить. В этот момент ему почему-то очень хотелось чесночной колбасы, даже живот подводило.

«Злой следователь» и тот очевидно добрел в присутствии Кирсанны, ведь ее семья была на короткой ноге с настоятелем и активно жертвовала на храм.

— Поругайте меня, батюшка, — страстно просила грешница. — Так, как только вы можете нас поругать. Я нуждаюсь в доброй отеческой порке! Я пала, батюшка, но мои ангелы поддержали меня. Я люблю одного человека и не могу противиться мощи этого чувства. И самое ужасное, что он любит меня. У нас глубокая духовная связь, но нам не суждено быть вместе никогда. Теперь мне одна дорога — в монастырь. Молиться за нас обоих.

Исповедь длилась долго, дольше всех, и пока весь храм переминался с ноги на ногу, Кирсанна успевала нашептывать столько, что у злого батюшки потом еще долго был очумелый вид. Последующих исповедников он принимал, явно витая мыслями в других, лучших мирах. И даже особо не ругал.

От второго священника кающаяся магдалина уходила умиротворенная, с добрым напутствием достойно нести крест семейной жизни.

В этой игре все роли были расписаны наперед, все образцово вели свои партии, и ничто не предвещало беды, пока однажды третий батюшка, имеющий репутацию слегка юродивого, выслушал Кирсанну, очень обрадовался, похвалил за духовное рвение, крякнул и — размашисто благословил. В монастырь.

В тот вечер Кирсанна приехала домой раздосадованная, ничего вопреки обыкновения не рассказала про службу, про то, как хорошо пели и кто служил, а — заперлась в спальне второго этажа и долго плакала, игнорируя встревоженные скребки мужа.

К ужину она вышла вся в черном, с бледным от слез, чрезмерно напудренным лицом. На расспросы не отвечала, к еде почти не притронулась.

И только в самом конце, когда домашняя помощница Светочка подавала чай, кротко молвила, глядя в пустоту: «Господи. Как. Я. Вас. Всех. Ненавижу». Светочка разбила чашку от неожиданности. Муж сделал вид, что ничего особенного не произошло. Дети сделали рожицы.

С того рокового дня Кирсанна в храм ходить перестала. Как отрезало. Подруге Лоре за бутылкой ламбруско говорила о духовном кризисе и невыносимом одиночестве всякого живого существа, имеющего ум и душу. А также о том, что давно бы покончила с собой от любви к изумительному мужчине, если бы не крест семейной жизни, который надо нести достойно.

Лора презрительно щурилась, много курила и пила ламбруско как итальянская лошадь. В ее жизни не было ни мужа, ни роковой любви, ни духовных запросов, даже креста и того — не было, и ей было немного обидно.

Кирсанна два месяца страдала, потом потихоньку пришла в себя и записалась в любительскую театральную студию. Режиссер сразу понял, какое сокровище на него свалилось, и задействовал Кирсанну в роли Гертруды. Злые языки утверждали, что Гертруда в постановке затмила и Гамлета, и Офелию. Более того, по новой режиссерской трактовке именно мать Принца Датского сошла с ума и сделала это так мастерски, что на Офелию, бледную жалкую тень, никто уже не смотрел.

Также говорили, что на премьере был сам отец-настоятель Н-ского собора, переодетый в штатское, очень взволнованный и глубоко потрясенный. Вдобавок ко всему, когда труппа вышла на поклоны, люди в черном водрузили на сцену к ногам Гертруды корзину красных роз — совершенно неприличного размера. Но у нас, знаете, у нас и соврут — недорого возьмут...

МАРФИНЬКА

В супермаркете в конце рабочего дня был час пик. Когда подошла ее очередь в кассу, Авдеева вконец истомилась. Рука онемела от тяжести корзинки. Надо было бы взять тележку, да их расхватили. Размотав душный шарф, бухнула корзинку на ленту транспортера и перевела дух. В наушниках винтажная группа «Бони Эм» исполняла древний хит «На реках вавилонских». Так Авдеева убивала двух зайцев — приобщалась к духовности и не отказывала себе в светских удовольствиях. Авдеева вообще была предприимчивая.

Молоденькая кассирша, похоже, новенькая, глянула на Авдееву как-то затравленно и заученно поприветствовала: «Добрый вечер, мы рады вам». Было видно, что, на самом деле, никто никому не рад и все только мучают друг друга. Авдеева выдавила ответную улыбку, быструю, как гримаса. Ноги гудели, руку скрючило, группа «Бони Эм» в ушах закончила петь про реки и перешла к багама маме.

«Посчитайте быстрее, пожалуйста», — преувеличенно вежливо попросила Авдеева, когда кассирша зависла, невидяще уставившись в монитор. «Да-да, конечно, извините». Получив прощальное «приходите к нам еще!»

и увесистый пакет, Авдеева привычно выставила вперед правое плечо и вклинилась в толпу. Еще каких-то полчаса, и она будет дома.

Дома ее ждал Бостон. Раньше их, ждущих Авдееву с работы, было двое — Бостон и Олег. Олег ушел четыре месяца назад и хотел забрать с собой Бостона, но Авдеева, до сего момента молчавшая, равнодушно сказала куда-то в сторону: «Забирай, конечно, а я завтра повешусь». Олег внимательно посмотрел и повесил поводок назад. Бостон любил Олега и Авдееву одинаково, а сейчас стал любить одну Авдееву, хотя и кидался в вечерних сумерках ко всем высоким парням в светло-серых куртках, обниматься.

Разбирая на кухне покупки, Авдеева не сдержалась и выругалась. В пакете лежали неожиданные вещи: питательный крем для тела во флаконе с дозатором, набор эклеров «Вечернее рандеву» из шести пирожных и какая-то матерчатая хрень в хрустящей упаковке. Тупая малолетка на кассе накосячила. Как чувствовала, что она накосячит. Авдеева пошарила рукой по дну пакета и выудила длинный чек. Ну точно, еще и посчитала ей чужие покупки, овца. Было неприятно, что какой-то ненужный чужой человек с его ненужной чужой жизнью без спроса залез в ее, приватное авдеевское пространство. Что-то похожее Авдеева испытала, когда ей как-то подрезали сумку на ярмарке и вытащили портмоне с деньгами и документами. Было жалко денег, ужасно жалко документов и времени на их предстоящее восстановление, но доминировало чувство гадливости, что чужие руки шарили в ее вещах.

Авдеева не пользовалась такими кремами и сто лет не ела пирожных. По вечерам она варила себе гречку в варочных пакетиках: очень удобно — бросаешь в кастрюльку и можно спокойно втыкать в ноут, не опасаясь, что пригорит. Гречку Авдеева ела без соли, с оливковым маслом — умерщвляла плоть. Плоти на Авдеевой оставалось немного, и ту, что оставалась, она прятала в балахонистые брендовые толстовки и свитера овер-сайз.

Самое неприятное, что взамен чужих покупок Авдеева не досчиталась своих, самых насущных: сигарет, вышеупомянутой гречки и зубочистиков для Бостона. Не, ну что за фигня, завтра же надо написать жалобу в жалобную книгу, и больше в этот супер ни ногой. Остаться без ужина и сигарет показалось очень обидно и унижительно. Впрочем, сил идти в магазин не было. Авдеева почувствовала, что сейчас расплатится, как маленький ребенок. Швырнула чужое добро в мусорное ведро и скомандовала: «Бостон, гулять!»

После прогулки с собакой Авдеева немного расслабилась. Переоделась в домашнее, поставила чайник на плиту, включила телек и залезла с пивом и Бостоном на диван. Пес тут же водрузил огромную башку ей на живот и взирал на хозяйку с умилением. «Извини, братан, — сказала Авдеева. — Твои зубочистки сожрала какая-то Марфинька». Ну, конечно, Марфинька. Кто же, как не Марфинька, мажется таким кремом и жрет такие эклеры? Авдеева напрягла память и припомнила что-то пушистое слева от себя, в розовом глупом шарфике.

Чайник засвистел по-разбойничьи весело. Авдеева дернулась на кухню, налила чаю в дизайнерскую кружку. Постояла в нерешительности и, стыдясь самой себя, полезла в мусорное ведро. Марфинькины покупки лежали там, поверженные и заискивающие. Эклеры виновато подмигивали. Авдеева выудила трофеи из ведра и разложила перед собой на столе. Ей вдруг подумалось, что где-то там, далеко-далеко, Марфинька сидит за столом под абажуром в розовый горошек и с ужасом вертит в руках пакетированную гречку и зубочистки из засушенной бычьей кожи. А потом раздумчиво открывает пачку сигарет и закуривает, красиво щурясь в усеянное огнями большого города окно.

Тряпичная хрень оказалась кухонным набором — цветастым передником и двумя стеганными варежками-прихватками. «Странная баба эта Марфинька, — подумала Авдеева. — Нахрена ей готовые пирожные, если она сама печет? В готовых-то одна химия». Сама Авдеева не пекла, потому что не умела и не хотела. Но когда-то мечтала научиться. Ее кухня, оборудованная по последнему слову техники в самом начале совместной жизни с Олегом, сейчас казалась нелепым пережитком.

Как всегда, при воспоминаниях об Олеге, Авдеева разозлилась на себя. А разозлившись, решительно пододвинула упаковку с пирожными и, зацепив ногтем, сдернула защитную пленку.

Эклеры были восхитительны. Авдеева съела две штуки зараз, облизывая пальцы и причмокивая, а чуть погодя, обстоятельно и не торопясь, умяла третий.

«Спасибо, сеструха!» — с чувством пробормотала Авдеева, немного еще позырила в ящик и отрубилась, сама не помнит как. Утром встала по будильнику, на скорую выгуляла Бостона, томясь от никотиновой ломки. Сварила кофе и выхлебала стоя, обжигаясь и поглядывая на часы. Отчетливо вдруг подумала: «А Марфинька, поди, спит еще. И, наверняка, не одна, такие курицы не могут без мужика, был бы рядом, пусть завалищий», —

и почувствовала такую неприязнь к этой вымышленной женщине, что даже как-то устыдилась.

«Марфинька, достала. Давай уж гуляй, а!» Бостон услышал заветное слово, метнулся в прихожую, цокая когтями по ламинату, и притащил в зубах поводок. Авдеева поставила недопитую чашку в мойку, смяла упаковку с недоеденными эклерами и выбросила в мусорку. Сложила оставшиеся Марфинькины вещи в сумку, намотала шарф, потрепала Бостона и отбыла в свое издательство работать арт-дизайнером.

В метро Авдеева жадно наблюдала за попутчиками, искала в них следы Марфиньки. Марфинька раздробилась и по свойственной ей доброте душевной раздарила всю себя без остатка людям. Вот той всучила розовый поддельный под шанель палантин, той одолжила круглые глазки с кукольными ресницами. А этой достались марфинькины любимые духи, — торжествующе ванильные, отчего вагон превратился в кондитерскую средней руки. Очень хороши эти кондитерские для не особо взыскательной публики, внутренне согласилась с Марфинькой Авдеева. В них так приятно забежать после бесцельных бродилок по городу вдвоем, вытряхивая мокрый снег, набившийся даже в карманы курток и внутренности капюшонов. В официантках там всегда крепенькие розовые девицы, на автопилоте строящие глазки посетителям. Если, конечно, те пришли без спутниц.

Авдеева стала думать странное. А что купят себе вечером на ужин эти люди, окружившие ее случайные попутчики? Какую свою историю они несут в мир, старательно шифруясь. Авдеева словно получила код к их жизням. Для нее впервые открылось, как много вокруг нее людей. Не серой безликой массы, сквозь которую она, отчаянно автономная в своем горе, изо дня в день прокладывала путь. А людей — отдельных людских историй. Она смотрела на людей с щемящим чувством, словно давно знала и любила их, а теперь встретила после долгих лет разлуки, но они не узнают ее, а она все еще медлит, не решаясь открыть себя.

Выйдя из метро, Авдеева не бежала, а шла, но все равно пришла в офис раньше всех. Уборщица, пожилая приветливая женщина, торопливо домывала пол в кабинете. «Анна? Кирилловна! — напряглась Авдеева, вспоминая ее имя, и дернула молнию сумки. — С днем рождения вас!» Не дожидаясь ответа, сунула в руки растерянной уборщицы Марфинькины дары.

Анна Кирилловна заморгала: «Спасибо, правда, это так неожиданно, у меня вообще-то в августе день рождения, это какая-то ошибка». «Ой, ну и,

подумаешь, ошибка. Значит, меня неверно информировали, но подарки назад нельзя, не выкидывать же», — Авдеева махала руками и наигранно бодрилась.

«Нет, ну зачем же выкидывать! — испугалась Анна Кирилловна. — Такой крем хороший, а у меня руки все время сохнут. И фартучек на кухню... такой славный... очень кстати. Спасибо вам, Маша!»

«Значит, мы угодили вам, — расплылась Авдеева и зачем-то добавила: — Вчера с подругой вам презентик выбирали. С Марфой».

Обеим было ужасно неловко, но ошеломительно хорошо.

ПИСЬМО ЛЮБВИ

Эта история абсолютно реальна. Она случилась много лет назад на Пасху. Мне рассказал ее сельский священник, непосредственный свидетель и участник событий, и после этого я надолго лишилась покоя. Она, эта история, надолго вышибла меня из колеи моего уютненького воцерковления.

Да-да, вы не ослышались. Несмотря на то, что я пришла в церковь, готовая умереть, и уверовала ярко и сильно, мне удалось избежать так называемой неофитской болезни, о разнообразной симптоматике которой так живописно свидетельствуют авторы «Ахиллы» в рубрике «Исповедь ухажанина». Видимо, под влиянием переживаемых невзгод, у меня выработалось сильное отвращение к разного рода крайностям. Цenia, как я тогда думала, последние месяцы своей жизни, я дала себе подсознательную установку: радоваться радостному, всей душой впитывать красивое и игнорировать уродливое. И первого, и второго, и третьего с лихвой хватало в церковной жизни. Но мои глаза отворачивались от всего, что мне было не по душе.

Однако страшная пасхальная история, о которой пойдет речь ниже, заставила впервые задуматься о том, а правильно ли я вообще понимаю, что такое есть Бог? Вот так, ни больше и ни меньше. Точного и ясного ответа на этот вопрос я, кстати, не знаю до сих пор.

А так хорошо все начиналось. Я бы даже сказала, уютненько, чтобы слегка сбить пафос повествования.

Мы приехали в гости к сельскому батюшке рождественским постом, в воскресенье. Стояла роскошная теплая зима. Сельский храм, отстроенный

богатым спонсором, был как картиночка, окруженный породистыми елями и кровоточащими кустами рябины. Отстояли литургию, причастились и были любезно приглашены отобедать.

Я первый раз была в гостях у настоящей, всамделишной священнической семьи, и она меня очаровала. Просторный дом, красивые развитые дети-подростки, стол, ломящийся от угощений, — конечно же, постных, но очень вкусных и даже изысканных, — матушка расстаралась. Матушка мне, кстати, тоже очень понравилась: батюшке, на мой взгляд, как мужчине весьма повезло.

Начали съезжаться гости — сваты с крестниками всех возрастов, знакомые священники с чадами и домочадцами, и большой дом наполнился детскими голосами. Мы потом сфотографировались на память, — красивая получилась картинка, очень в духе православного глянца.

Как это всегда бывает, шумное общее застолье после сладких пирогов распалось на островки «по интересам»: матушки отправились пить чай на кухню, дети убежали в комнату для игр, кто-то нашел себе другие занятия. А мы с хозяином дома и его другом, тоже священником, уединились за низеньким столиком и увлеченно беседовали о вере. Мне, неофитке, все было интересно, я даже записывала нашу беседу на диктофон: авось, пригодится позже сделать интервью.

— Вы обратили внимание на нашего пономаря? — внезапно спросил меня отец-настоятель.

— Да, конечно, как не заметить. Такой красивый молитвенный голос. И старичок колоритный, немного похож на старообрядца, — отозвалась я. Старичка-пономаря я, и правда, заметила и даже сделала ему комплимент в конце службы.

Батюшки как-то странно переглянулись, хозяин дома помедлил, вроде как в нерешительности, и выдал:

— У него ведь такая трагедия в семье случилась. Жена погибла несколько лет назад на Пасху. Как раз после праздничной службы, когда они домой, в соседнюю деревню возвращались. Автомобильная авария. Вся их легковушка всмятку. Его успели до больницы довезти, а жена умерла по дороге. В карете «скорой помощи».

— Как? — прошептала я, пораженная. — Как такое возможно? Как же Господь такое допустил? Прямо в Пасху?

— В Пасху, — подтвердил мой собеседник. — Им и ехать-то было всего ничего. Несколько километров. Грузовик со встречной влетел. На полной скорости. Водитель был смертельно пьян. Тоже Пасху отмечал, по-своему.

— Расскажите, — попросила я.

И мне рассказали, что звали их Иван да Марья. Как в сказке. И что были они многолетние прихожане этого храма, имеющие многочисленных детей и внуков, очень усердные и благочестивые христиане. Накануне они отстояли на ногах всю ночную пасхальную службу, а когда вышли из храма, то присели на лавочку и Марья якобы сказала Ивану:

— Давай посидим, Ваня, немножко, ноженьки не держат. До чего же хорошо, Вань, скажи. Вот так бы и умерла сей момент, так мне сейчас хорошо.

И Ваня согласился с женой: и правда, Мань, хорошо, мол, хоть ложись и помирай.

Я еще тогда подумала, что фразу про умереть вполне могла додумать и приписать досужая людская молва. Люди любят такие эффектные, как им кажется, вещи. Возможно, то была наивная людская попытка оправдать Бога, допустившего такое страшное несправедливое смертоубийство.

А может, и правда Марья так сказала, желая облечь в слова то состояние тихого блаженства, которое испытала тогда ее боголюбивая душа. Впрочем, вряд ли она хотела такой мученической смерти, в ужасе, грохоте и лязге сминаемого металла. Каждую литургию христиане смиренно просят совсем другую кончину — безболезненную, непостыдную, мирную. Неужели добрая христианка Марья не заслужила у Бога именно такой?

Иван пришел в себя на следующее утро, в реанимации, весь переломанный. «Очень сильный организм, — сказали врачи, — поразительная живучесть». Первое, что спросил: «Маша — живая?» «Живая, живая», — сказали ему. Но он почему-то не поверил, начал метаться, кричать и требовать, чтобы ему показали его Машу. Или сказали правду. Ему сказали. Иван сразу успокоился и сказал: «Ну, тогда и меня не лечите, я тоже умру». Но — не умер.

Затосковал и стал проситься, чтобы его отвезли на похороны жены. Твердил, что нужно сказать ей что-то важное. Вырывал из себя трубки и капельницы, буянил. Ему вкололи седацию и объяснили: «Ну как тебя везти такого, сам подумай, мы же второй труп привезем».

«Может, я этого и добиваюсь», — тихо сказал Иван. В то утро он был за рулем и чувствовал себя виноватым. К счастью, к нему в реанимацию допустили священника, того самого отца-настоятеля, он-то нашел слова успокоить больного.

— Что вы ему сказали? — спросила я.

— Я предложил ему написать письмо Марии. А я зачитаю его при отпевании. Правда, писать он сам не мог, обе руки были сломаны. Письмо под диктовку Ивана написал его односельчанин, молодой парнишка, который жил по соседству.

Отпевали Марью по особому пасхальному чину. Съехалось духовенство из города, все в праздничных облачениях. Народу набилось в церковь, как давеча на пасхальную службу. Когда читали письмо — рыдал весь храм. Отец-настоятель хотел сохранить послание, да старший священник не разрешил: «Оно ей принадлежит, пусть с ней и уйдет». Письмо вложили Марье в холодную руку, прямо под крестик.

— А что было в том письме? — я не могла не задать этот вопрос.

Батюшка задумался, видимо, погрузился в воспоминания.

— Что?

— Письмо? Что в нем было?

— Ах, письмо. Да я вам могу его отдать. Копию сниму.

Я, признаться, подумала, что он бредит.

— Какую копию? Вы же сами только что сказали, что письмо в гроб к Марье положили.

— А оно вернулось, письмо, представляете? Через год вернулось. Нет, не с того света. А при следующих обстоятельствах. Где-то через год приезжает в наш храм молодой отец — малыша своего крестить. Тот самый парень-сосед, который письмо Ивану под диктовку писал. Ну, покрестили мы младенца, а парень и говорит: «Батюшка, помните то письмо? Это не очень большой грех, что я с него копию снял и у себя дома все это время хранил? Впрочем, я вам его отдам. Я его нарочно с собой захватил». Ну и все. Теперь письмо у меня в алтаре хранится. Я его брачующимся после венчания читаю. Чтобы, значит, любили друг друга, а не вот это вот все.

— Сделайте и мне копию, пожалуйста, — взмолилась я, на тот момент уже совершенно уверенная, ради чего я приехала в это село.

И вот это письмо у меня. Не стану публиковать его дословно, поскольку у меня нет разрешения на публикацию от близких Марии. Скажу лишь, что прощальное послание написано просто, если не сказать — бесхитростно. Муж просит прощения у жены, называя ее голубкой: за то, что ругал сгоряча, обижал, не ценил, за то, что мало участвовал в воспитании детей. Такое письмо мог бы написать любой мужчина своей жене. Или любая жена своему мужу.

Меня поразило другое — автор ни на йоту не сомневался в том, что Бог есть, и что этот Бог — милосерден. Зато серьезно засомневалась я.

После этого случая в том селе многие, знавшие погибшую лично, отпали, охладели, перестали ходить в храм. «Где Он, этот ваш Бог? Где?» — кричали некоторые особо эмоциональные сельские матроны, встречая настоятеля на улице.

«Ну вот же Он, вот», — отвечал тот. Имея в виду, что Бог — в самом факте существования такой большой и светлой любви, которая сама по себе — чудо. Но его мало кто понимал. И еще меньше, кто хотел понять.

Это действительно трудно — увидеть в этой истории Бога. У меня вот, например, не каждый раз получается. Иной раз вроде как некий угол зрения открывается, и вижу — явно и отчетливо. Зато в другой — накрывают муть, ужас и липкая хтонь. Бог все время ускользает из этой истории. Вернее сказать, Он каждый раз умирает вместе с Марьей под колесами того грузовика, а воскресает — далеко не каждый. В лучшем случае, в одном из десяти. А то и того реже.

В тот день, вернувшись из села, я долго сидела молча одна в своей комнате, потом подошла к окну и распахнула его, мне было нечем дышать. Глотнув морозного воздуха, вдруг осознала, что одно из тайных имен Бога — Великий Абсурд. И не только потому, что Он не укладывается в рамки нашей человеческой логики и морали (было бы странно, если бы укладывался). А потому, что, дав человечеству заповеди общежития, чтобы люди не пожрали себе подобных, за собой Он оставил право действовать и над моралью, и над законом, и над логикой. Отцы учат нас, что Бог есть любовь. Наверное, так и есть. Жутковатая штуковина — Божественная любовь, вы не находите?

Я думала об Иване, как и чем он жив все эти годы? Терял ли он веру? И если терял, то что помогало ему обрести ее вновь? И о том преступном человеке на грузовике, которому Бог не воспрепятствовал стать убийцей, убить

праведницу в апофеоз всеобщего ликования победы жизни над смертью. В каком аду после содеянного живет его душа? Покаялся ли он? Или, наоборот, озлобился и считает себя невинно пострадавшим? Говорят, он был так сильно пьян, что ни фи́га не понял и его пришлось отливать водой, чтобы хоть немного пришел в себя...

А еще я думаю о тех, которым Бог не воспрепятствует прийти в храм на нынешнее празднество Пасхи и, будучи скрытыми носителями смертоносной для слабых и старых заразы, принести смерть по цепочке в десятки и сотни домов. Самое ужасное, что далеко не все из них будут одержимы гордыней и жаждой возвыситься над «презренными маловерами». Далеко не все будут полубезумными алармистами, пьющими за приближение конца света и второе пришествие. Многие пойдут убивать из лучших побуждений, искренне считая себя верными и преданными Христу.

И Он почему-то не остановит их. Конечно, у Него есть на то веские причины. Может быть, Он всего лишь любит читать наши прощальные письма любви...

(Имена героев изменены — В. Г.)

МНЕ ЗЛОБНО И СВЕТЛО

Когда меня спрашивают, какой нынче главный вызов времени, что делать и отчего так тяжело на сердце и так муторно на душе, я вспоминаю Фрутеллу. Теперь я знаю точно, что она была посланцем. Но вся проблема с посланцами, что их не сразу разглядишь и прочухаешь. Напротив, в силу присущей посланцам некоторой экстравагантности люди довольно часто принимают их за обыкновенных засранцев. Ленивы мы и не любопытны, что вы хотите...

Фрутелла... Мы познакомились с ней на рынке, в очереди в молочную лавку. Да, представьте себе, мы стояли с ней в одной очереди, хотя у нас изначально были разные цели и задачи. Она хотела мороженого, — чтобы идти по городу под флагом развевающихся волос — наушники в ушах, в плеере — какая-то ведьминская дичь — и скандализировать прохожих театрально-порнографическим поеданием этого продукта. А я собралась скромно купить 200 граммов сыра пармезан, поехать к себе на улицу Партизанскую, приготовить пирог по-фламандски и запустить им в

богомерзкую рожу Таисии Борисовны. Впрочем, Таисия Борисовна к этой истории не имеет ни малейшего отношения, разве что к сыру.

Каюсь, сначала мне подумалось, что именно такие существа должны являться грешникам из самого пекла ада, материализовавшись в изнемогающей от жары очереди за мороженым на Центральном рынке. Эта девка стояла за мной и сверлила мой затылок. Наверное, хотела добраться до мозга и сожрать его. У нее были светло-голубые глаза — холодные как льдинки. Глаза, густо обведенные черным карандашом. Презрительный породистый нос. Дивная кожа. Длинные волосы собраны сзади в хвост. Когда Фрутелла мотала головой, ее хвост хлестал стоящих сзади граждан по мордасам. Наглая сучка. Про таких моя бабушка говорила: насыт в глаза и скажет — божья роса.

Стоящие сзади очень приличные мужчины терпели эти бичевания с безропотностью александрийских рабов на галерах. Потому что Фрутелла была роскошна. Настолько роскошна, что рабы понимали: эта кобылка рождена для того, чтобы хлестать окружающих своим хвостом. Рабы терпели и даже старались незаметно подставить под бичевание левую щеку. А потом — правую. И снова — левую. И тихо, незаметно и очень прилично оргазмировали.

Я долго выбирала сыр. Мне было крайне важно, чтобы он был отменного качества. Не слишком соленый. Слоистый, как слюда. А когда вытащила кошелек, чтобы расплатиться — эта особа вклинилась между мной и прилавком и томно спросила: «А... скажжжжи... что лучше — фрутелла или морозпродукт?»

«Что за глупый вопрос? Конечно, фрутелла», — подумала я. А вслух сухо сказала:

— Не представляю, о чем это вы?

— Это фруктовый лед, — ее глаза затуманились и стали бархатными.

Рабы сзади тяжело задышали.

Я должна сделать отступление и сказать, что тут я совершила ошибку, — я приняла Фрутеллу за лесбиянку. А вы бы на моем месте за кого бы ее приняли? Как художница и человек, читавший Хелен Уолш, я, конечно, толерантно потупилась. Но как среднестатистическая замужняя женщина, знаете, — я испугалась. Сильно испугалась, даже в пот бросило. Потому что меня вдруг к ней потянуло. Меня засасывало в горнило ее молодого

магнетизма, как вылетевшую из шкафа моль засасывает деятельный шланг пылесоса.

Я бросилась наутек, прижав к груди свой пармезан. Предварительно выдавив великосветскую улыбку и пожелав Фрутелле удачного выбора. Сердце бешено колотилось, мне казалось, весь рынок видит мой позор и осуждает меня. Даже торговец яблоками и урюком почему-то не пропел свою обычную привечающую мантру. А тетки в колбасном ряду и вовсе злорадно осклабились.

Фрутелла вынырнула откуда-то из-за левого плеча где-то в районе парковки и спросила:

— Ты не на машине? Хочешь, я провожу тебя до дома? Помогу нести сумку?

Сумка у меня была не тяжелая.

Я сказала:

— Пошла бы ты...

Хотя... в конце концов, чем я рисковала — парой кэге яблок, пакетом ряженки и сыром для Таисьи Борисовны?

Фрутелла оказалась студенткой. Была на моей выставке. Ей понравилась одна картина.

— Ну, та, в лиловых тонах. Суицидальная. Почему, когда на нее смотришь, становится злобно и светло?

— Ты хотела сказать: больно и светло?

— Я всегда говорю то, что говорю, — обиделась Фрутелла.

Я промолчала. Для меня было неожиданностью, что Фрутелла умеет испытывать боль.

Картину в лиловых тонах я написала, когда умер, не родившись, мой ребенок. А мой близкий друг-художник Тоша развернул против меня анонимную травлю на местном интернет-форуме под девизом, что я бездарная художница и вообще какая-то *лять. Травлю восторженно подхватили Тошины хомяки, и даже кусками перепечатали в городской газете в статье под странным названием «Давай, до свиданья!» с не менее странным резюме ведущей журналистки Елены Беспокойной: «Сумеет ли ранимая творческая натура псевдохудожницы пережить эту справедливую критику в свой адрес — покажет время». В довершение ко всему врачи

диагностировали у меня какую-то срань господню с пятисложным названием.

Как потом выяснилось, все три события находились в причинно-следственной связи. Ребенка я не доносила, потому что опухоль. А Тоша оказался обычным завистником и мудаком, хорошо и грамотно осведомленным, куда и когда именно нужно бить человека, чтобы наверняка убить.

Впрочем, в то время причинно-следственные связи мне были до лампочки. Мне просто тупо не хотелось жить. Люди в большинстве своем стали чужды и неинтересны. Я была заведенным часовым механизмом, который точно знает, что в определенный час взорвется. Но я не взорвалась. Уж не знаю почему. Посреди полугодового творческого простоя неожиданно и властно на белый свет попросилась та картина. Не думаю, что это был акт творчества в его общепринятом благородном значении. Скорее, это была чистой воды физиология. Меня вырвало на холст, — лиловыми красками и чудовищными образами, перед которыми меркнут кошмары Гойи. Но когда это случилось, мне действительно стало злобно и светло. Именно так — злобно и светло, — точнее не скажешь.

«Фигушки, — сказала я тогда миру. — Не сожрешь ты меня, не сожрешь!» И показала в окно дулю сразу из двух кулаков.

Фрутелла вбежала в мою жизнь и в мою полутемную мастерскую с веселым нахальством беспризорной кошки. У нее, кажется, были родители. Но она про них не очень рассказывала. И несколько любовников, которых она по очереди то бросала, то подбирала. Но все это было «абсолютное не то». К родителям и любовникам она приезжала на летние каникулы из большого города, где училась в университете. Когда я спросила, на кого, Фрутелла ответила загадочно: «А, не бери в голову!»

По возрасту она вполне могла быть мне дочерью. Но только по возрасту. Уж моя дочь никогда бы не приставала к незнакомым людям на рынках. Фрутелла была дурно воспитана, это факт. В первый же вечер мы с ней напились до чертиков. Закусывали купленным для Таисьи Борисовны пармезаном. Плясали на столе под Кэти Перри, отнимая друг у друга бутылку и по очереди отхлебывая. В общем, тот вечер я помню смутно. Одно совершенно точно: секса между нами не было.

Что было, спросите вы. А я не знаю, как это назвать. Что-то большее, чем секс. Близость за гранью близости. И неважно, что мы при этом говорили

друг другу. Важно, что мы при этом чувствовали. А чувствовали мы совершенно в унисон.

Фрутелла в то лето появлялась не часто. Но только тогда, когда действительно было нужно. Именно она, а не кто-то иной, держала меня за руку перед кабинетом УЗИ «до», и она, конечно же, она устроила дикую пляску «после», разлив посреди коридора ведро под проклятия уборщицы. Радость для меня долго потом ассоциировалась с ядреным духом больничной хлорки. Именно она стала моей главной натурщицей. Сидела как паинька в уголке мастерской с потухшей сигаретой, уткнувшись в свой айфон, а я делала поспешные зарисовки, пытаюсь «схватить» ее грацию молоденького зверька. Она поселилась на моих холстах — огромное, в десятикратном увеличении марсианское лицо: полузакрытые глаза и влажные губы. Мне хотелось писать ее каждый день. Мне хотелось запечатлеть ее в каждом жесте. В каждой гримасе.

И еще вдруг так захотелось жить — страстно, захлеб, как будто ты по пояс высунулась на полном ходу из машины, обжигаясь встречными потоками воздуха и радуясь их бешеному напору.

Я поняла одну вещь, которая раньше даже не приходила мне в голову. Знаете, что делает людей по-настоящему близкими? Нифига не похожесть, не общие интересы, не умение выстраивать сложные компромиссы, не обоюдные планы на будущее и даже не совместное прошлое. Кайф осознавать свою разность — вот что делает людей действительно близкими! Наслаждение от того, что в твою сумеречную клетку зашел другой зверь, — не такой как ты. Инаковый. Может быть, даже не зверь вовсе, — инопланетянин. И вы, слегка оправившись от первого шока, оглядываете и ощупываете друга дружку, дивясь и радуясь тому, какие вы разные.

— Она когда-нибудь ограбит тебя, эта девка, — кисло предсказал муж.

— Что у вас может быть общего? Ты знаешь, что про вас болтают? Остановись, пока не поздно, это мерзость, свинцовая мерзость! — делала большие глаза подруга детства. Уж в чем — в чем, а в свинцовых мерзостях моя подруга детства толк знала: в свое время она радостно рассказывала, что воплотила-таки давнюю мечту, чтобы ее отодрали на ночном пляже трое незнакомых мужиков.

— На малолеточек потянуло? — вальяжно тянул друг-художник Тоша, к тому времени великодушно прощенный. — Понимаю, ух, как я тебя понимаю. Но ты всегда была чокнутой, если честно.

Что я могла объяснить им? Как оправдаться? Разве я могла сказать им, что Фрутелла вовсе не преступная малолетка. И что она не мерзость. А что она — божья коровка. Божья коровка, полети на небо, дам тебе хлеба. Они бы все равно не поверили. Ведь, если говорить строго формально, мой муж оказался прав. Фрутелла все-таки стырила у меня из кошелька пять тысяч тенге перед тем, как уехать в этот свой город, где она на кого-то там училась. Это был единственный ущерб, если говорить языком полицейского протокола. А так все остались при своем. Ворона — со своим сыром. Лисица — со своими песнями...

Вот кто-то, наверное, читает и думает: ну и какая в этом рассказе мораль? А вот и нет тут никакой морали. И не ищите. Можете ругаться и кидать в автора всем, что только подвернется под руку. Автор абсолютно неуязвим. Автору злобно и светло...

АНГЕЛ ИЗ ПСИХУШКИ

Четыре непридуманные встречи

Иногда — на исходе лета ли, поздней осенью или аккурат перед Рождеством — людям открывается потаенное. И тогда ты, бредущий по городу, можешь запросто встретить философствующих бомжей, реинкарнацию Винсента Вульфа и ангела из психушки...

Встреча первая. Кони Апокалипсиса

Иду по бульвару, наслаждаюсь. Шаг замедлила. Снежок искрится, фонари мерцают. Лепота. А навстречу — чинно так, под ручку — поддатые бомж с бомжихой. Поравнялись, и бомжиха мне:

— Дамочка! Мы тут с Пал Палычем поспорили: какого цвета были кони Апокалипсиса? Я говорю: белый, рыжий и вороной. А Пал Палыч пургу какую-то несет. Рассудите нас, пожалуйста.

Я окаменела. Был бы наш брат интеллигент, я бы быстро нашлась, что ответить: «Мол, не ахренели вы, часом, господа, такое на ночь спрашивать?» А тут надо со всей ответственностью. С душой надо. Но самое страшное — понимаю: не знаю! Не знаю ответа на вопрос. Стою, краснею.

— Простите, — говорю, когда пауза уже неприлично затянулась, — не могу ответить на ваш вопрос, давно первоисточник не перечитывала.

И зачем-то добавила по-армейски: «Виновата».

— Да не знает она, Любань, пойдем, — смилостивился Пал Палыч и икнул.

Любань смерила меня с головы до пят взглядом, далеким от всякого снисхождения, и процедила, как мухобойкой прихлопнула: «А еще — в шюбе!»

Встреча вторая. Эпитафия

Дедок из соседнего двора подошел, поздоровался, неловко потоптался на месте и выдал новость:

— Рич эта... умер вчера...

Рич — веселый кобелек той-терьер — частенько сопровождал нас с моим псом Санчесом во время утренних прогулок, заслужив наше бесспорное уважение за свой бесстрашный характер и полное отсутствие пустобрехства, характерного, увы, для представителей этой славной породы.

— Умер вчера, — эхом подтвердил дедок и часто-часто заморгал. Затем последовали обязательные в таких случаях подробности Ричевой болезни и лаконичный вердикт — «такой хороший был пес, никогда в доме не гадил».

Дедок съежился и заплакал. Я поняла, что он хотел сказать. Что они счастливо прожили все эти 20 лет ричевой жизни, 15 из которых была жива бабка. Что по вечерам они с бабкой сидели рядом перед телевизором, и Рич всегда вклинивался между ними. Что он заменил им вечно занятых детей и внуков. Что своими трюками и ужимками прикрывал дедку от бабкиного гнева, когда тот с пенсии покупал поллитровочку и порой перебирал за воротник. И после бабкиного ухода, э, да что говорить, кто его знает, как бы все обернулось, если бы не Рич? Такой маленький, а вот поди-ка ж, вытащил... А сейчас вот — полное пепелище. И что делать с этим пепелищем, дедок не знает, но чувствует, что заново застроиться силенок уже не хватит.

Он хочет рассказать мне об этом, как сочувствующему элементу, но не может подобрать слов, чтобы описать это ощущение огромной черной дыры, в которую со свистом улетело все дорогое, и он хватается за наиболее доступное пониманию обывателя собачье достоинство покойного, рождая одну из самых блестящих и точных эпитафий, сделавших бы честь любому человеку:

«Рич, который никогда не гадил в доме, сиречь — ближнему своему».

Requiescat in pace! (Покойся с миром!)

Встреча третья. Старший Николаич

Ненастной осенью мы с Валерой повстречали Винсента Вульфа собственной персоной. В петропавловской реинкарнации это оказался человек с грустными глазами, весь опутанный проводами от наушников. Он вышел к нам из темноты на свет одинокого фонаря и, качаясь, долго выколупливал наушники из ушей, наверное, минут пятнадцать. Все это время мы молчали. Он молчал грустно, а мы отстраненно-сочувственно. Наконец, незнакомец распутался, приветливо покачался и спросил на удивление трезвым голосом:

— Ребята, у вас есть проблемы?

— Неа, — ответили мы.

— Если будут, обращайтесь. Все решим. Я — старший Николаич с АО ПЗТМ. Запомните: АО ПЗТМ. Все решим, обращайтесь.

Произнеся это заклинание, старший Николаич снова ввинтил свои провода в слуховые отверстия и отчалил во тьму. Оттуда эхом донеслось: «АО ПЗТМ»...

Если это был знак, то я расценила его как в высшей степени положительный. А Валера никак не расценил, а просто флегматично докурил свою сигарету и бросил горящий окурок в урну. Ночь привычно сожрала и его.

Встреча четвертая. Большое небо

Мы с моим чау-чау Санчесом любим прогуляться мимо психбольницы. Там хорошо. Там хорошо.

Знаю, что люди часто сходят с ума, будучи не в состоянии принять свою жизнь, и поэтому среди психических так много озлобленных, страдающих и несчастных. Но нам с Санчесом почему-то попадают психи добрые. И даже трогательные.

— А ваша фабаська будит кúсать пиценюшку?

Глаза — голубые-голубые, круглые, брови — домиком, нос — картошечкой.

— Спасибо, он не берет у чужих. Кушайте сами.

Идет рядом, хрустит печеньем.

— А меня седня выписали домой. Домой иду.

- Далеко идти?
- Далеооооо. Село такое-то такого-то раена.
- Да как же вы доберетесь? На автовокзал надо.
- Да ницеооо. Я сначала на косогай, потом на вокзай.
- А на косогай зачем?
- Посижу.
- А... Плохо в больнице-то было?
- Неа, хоесо. Комят хоесо. Вачи хоеые. Только окошка мааааенькие. Неба не видать.
- Где ж маленькие? Смотри, какие большие!
- Эээээ. Гаваю, маааааенькие. А небо — босое. Не видать.

Дошли до косогора. Попрощались. И тут сердце почему-то защемило, окликнула: «Вы смотрите: на автобус не опоздайте! В деревню-то. По часам ходят автобусы».

- Да знаю я. Ницеооооо...

Социально, вишь ты, адаптирован. Автобусы знает. Или адаптирована? Вот, хоть убейте, не поняла: то ли мужичок, то ли бабенка? По голосу непонятно абсолютно. По одежде тоже не разберешь — ватные штаны, шапочка вязаная, куртофейка красная, и лик — ребячливый, без намека на щетину. И эти невозможные глаза. Какого-то действительно бесполого, ангельского чина.

Большое Небо, будь в каждом окне. Даже в самом маленьком и мутном.

Пожалуйста, будь.

ТАНЦЫ НЕЛЮБИМЫХ

Весна была холодная. Больше мне нечего про нее сказать. Я тогда проходила лучевую терапию. Она называлась красивым французистым словом — адьювантная.

- Эээх, жирочка бы тебе вот сюда. И сюда бы жирочка. Погорит же все нафик, что ж ты такая костлявая-то, кызым? — сокрушалась пожилая

медсестра на укладке, расписывая маркером с зеленкой мой впалый, как чаша, живот с сильно выпирающими тазовыми костями.

— Не погорит, я заговор от пожара знаю, — хрипло отбрехивалась я, поеживалась на жестком ложе кобальтовой пушки от прикосновений холодного маркера.

— Ты хоть кушаешь-то хорошо? Ты кушай, кызым, кушай! Тебе сейчас хорошо кушать надо — на все возможности кошелька. Икру там, рыбу красную хорошую, парную говядину, творог, яички деревенские. Возможности-то есть?

Возможности у меня, благодаря поддержке друзей, были. Способностей, блин, не осталось. Идя пешком домой после «сеанса», я послушно заходила в ближайший супер и долго, как музейные экспонаты, разглядывала выставленную на витринах дорогую жратву. Все эти сыры, ну вы знаете, обвитые пластиковой виноградной лозой для пущего обольщения потребителя, порнографично развалившуюся плоть хамонов и всякое такое. Раньше я в их сторону даже не смотрела, считая излишеством для нормальных людей. Но радиологи сказали «надо есть много и хорошо», и я честно пыталась следовать их указаниям. Впрочем, все это раблезианство не вызывало во мне никаких ответных эмоций, кроме, возможно, эстетических. Ну нет, в итоге я что-то там, конечно, покупала, приносила домой, засовывала в холодильник и забывала. Аппетита не было совсем. Это одна из особенностей воздействия на организм радиации, если кто не в курсе.

Когда тебе ставят диагноз «рак», в твоей жизни меняется все. Все в твоей жизни, нахрен, меняется. Нашим людям, в основной массе, свойственно восприятие действительности как некоего нескончаемого ужаса, в отличие от америкосов там или европейцев. И поэтому, когда нашему человеку говорят, что у него рак, то это все равно, что сказать, что он уже мертвец. Я говорю о самой первой реакции на эту новость. Это потом ты уже переспишь с ней сколько-то там ночей, как-то обожмешься и оботрешься, и поймешь, что даже за гробом есть жизнь. И жизнь довольно деятельная, энергичная и не лишенная всяческих удовольствий. Но это все сильно потом. И при условии, если сумеешь пережить эти несколько дней — недель или месяцев, у кого как — кромешной стадии отрицания. Своей, прошу прощения за пафос, прижизненной смерти.

Вот, скажем, я очень люблю фильм Джима Джармуша «Мертвец». Может, кто-то еще любит? Помните эпиграф к нему, позаимствованный у Анри

Мишо: «Никогда не путешествуйте с мертвецом». Я бы добавила: никогда не имейте никаких дел с мертвецом, не ешьте с ним за одним столом, не спите с ним в одной постели и вообще держитесь от него подальше. Мертвец чрезвычайно разрушителен для психики живых нормальных людей. Анри Мишо сек тему.

Хорошо помню то свое состояние. Такое вдохновенное безумие с летящими по ветру волосами. Я чувствовала, что я тотально проиграла, просто продулась в пух и прах. Смириться с этим было непросто, и моим любимым занятием в то время было сжигать мосты. Я самозабвенно занималась тем, что множила в мире нелюбовь. Сколько любимых людей я тогда прямой наводкой послала на йух, — просто из удовольствия послать. Потому что они были живые. А я — нет. Некоторые поняли меня, простили и вернулись. Некоторые так и не. Прочая массовка подыгрывала мертвецу тем, что держалась бодрячком, тщательно избегала слова «рак», заменяя его эвфемизмами «диагноз» и «это», хлопала мертвеца по плечу, восклицая: «Держись, не раскисай, соберись, в наше время это не приговор! Люди с этим живут годами. Вот подруга моей снохи (или сноха моей подруги)...» — дальше следовали обязательные в таких ситуациях бодрячковые истории, которые я бы сама, наверное, рассказывала мертвецам, окажись я на их месте, а они — на моем.

Тем не менее я чувствовала фальшь и сильно страдала. Знаете, бывают такие странные девушки, которые тяготятся многосерийными брачными играми самцов вокруг них, в глубине души мечтая о простом и честном парне, который бы подошел и сказал: «Я тоже мог бы наговорить тебе кучу блаблабла. Но ты мне ужасно нравишься, и я просто скажу тебе, что хочу тебя трахнуть. И, блин, я вложу в это всю свою душу».

Вот и я мечтала о таком человеке, который бы вдруг возник из ниоткуда и сказал: «Не буду тебя утешать и говорить ничего не значащие пустотелые слова. Потому что тебе не это нужно, я знаю. Если хочешь, я поговорю с тобой о смерти, чтобы ты расслабилась, наконец, и успокоилась. Ты же не против? Как ты представляешь себе свою смерть? Например, ее организационно-правовую сторону? Как бы ты хотела все организовать, скажи мне. Я помогу тебе».

И я бы ответила: «Конечно, не против. Помоги мне, пожалуйста. И поговори со мной, да».

Разумеется, я вовсе не собиралась умирать. Но мне очень нужен был человек, такой же, как я — о двух руках и ногах, с головой на плечах —

который бы не побоялся вместе со мной взглянуть в глаза самому страшному. Но такого человека не находилось. Люди избегали даже малейших намеков на эту тему. Это казалось им вопиющей бестактностью. Люди — они, конечно, хорошие. Просто они сами боятся самого страшного, что их за это винить?

По мере того, как в моем организме накапливалось ионизирующее излучение, я все больше становилась зомбаком. По ночам меня била лучевая лихорадка, так что утром не было сил одеться, я вызывала тачку и ехала в онкодиспансер прямо в пижаме, накинув сверху толстовку и куртку. Там я занимала очередь в длинном коридоре и очень радовалась, когда освобождалось место рядом. Это было прямо ништяк, тогда можно было лечь на скамеечку, свернувшись в позе эмбриона, положив рюкзак под голову, и ждать своего часа в полном комфорте и уюте.

Никто не спрашивал: «Что с вами? Вам не спlohело ли, часом?» Ни пролетающие мимо доктора и медсестры, ни пациенты на соседних диванчиках. Ну, лежит человек в коридоре и лежит. Значит, ему так надо. Там, в этом длинном коридоре, это было в порядке вещей.

Не знаю, насколько сильно погорели у меня внутренности, но радиация выжгла мне душу. Я чувствовала себя отделенной от всех остальных людей и разобщенной с ними. И это продолжалось довольно долго даже после того, как лечение закончилось, мне выдали справку о вступлении в ремиссию, дежурно поздравили и отправили на самореабилитацию в нормальную жизнь.

Но это была не нормальная жизнь.

Холодную весну сменил вполне себе теплый июнь. Я почти безвылазно сидела дома, тупо наблюдая небо в окне. В моей голове не было ни единой мысли. Однажды ранним вечером я ощутила аномальность своей жизни настолько остро, что нашла в телефонной книге смартфона номер Эдика Адильшина, нажала номер и сказала:

— Эд, это Вера. Мне нужно встретиться с тобой безотлагательно.

— Я понял, — отозвался немного сонный Адильшин. — Вер, а Вер, чота случилось, а?

— Мне срочно надо нафуяриться, — объяснила я.

Тут я должна, просто обязана, объясниться. Последний раз я пила алкоголь лет десять тому назад. У меня нет медицинской проблемы. Просто все эти годы я была идейная трезвенница. В свое время мы с моим мужем настолько увлеклись этим делом, что даже съездили разочек на шабаш трезвенников на озеро Еланчик, напоили своей трезвой кровью тамошних комаров, но быстро поняли, что трезвенники, сбившиеся в стаю, — люди очень странные и нам, мягко говоря, с ними не по пути. Однако привычка и кураж трезвовать осталась. Мы даже на Новый год чокались безалкогольным шампанским и находили в этом своеобразное удовольствие. Ряды наших в то время многочисленных друзей за эти годы ощутимо поредели.

Решив напиться, я сильно разволновалась. Поживите-ка вы в завязке 10 лет, а потом решите развязаться, тоже, поди, разволнуетесь. Короче, мне позарез нужен был опытный человек, тренер. Эдик Адильшин, на мой взгляд, подходил на эту роль лучше всего.

— Конечно, Вера, какой разговор. Надо — так надо. Где встречаемся? Ты же мне дашь 10 минут, чтобы одеться и вызвать такси?

— Одевайся. Встречаемся у входа в Центральный парк, — забила я стрелку.

— Оттуда хорошо стоянка такси просматривается. Я буду в черных брюках, белой блузке и черном жакете.

— А ты знаешь, Вер, — взбулькнул Эдик горлом. — Меня только что Светка бросила. Ты все-таки права оказалась насчет нее, *лядь она.

— Подробности письмом. Приезжай быстрее. Жду, — прервав поток телефонных откровений, я отключила трубку и призадумалась.

С Эдиком мы знаем друг друга сто лет. Познакомились по журналистско-правозащитной линии в вагоне-ресторане поезда «Астана — Петропавловск». Поезда тогда ходили из столицы в Петрик целых 8 часов. Время более чем достаточное, чтобы успеть рассказать попутчику всю свою жизнь, даже такую многосерийную, как у Эдика Адильшина.

По своему официальному статусу, присвоенному ему казахстанскими властями, Адильшин был особо опасный рецидивист, отсидевший в общей сложности 13 лет, — преимущественно в зонах особого режима. То есть личность в высшей степени романтическая, а в Казахстане даже легендарная.

Имея в то время склонность тайно наклеивать людям наклейки-архетипы, я наклеила на Адильшина ярлык «пикаро», то есть плута и авантюриста, главгера плутовского романа. Имея от природы цепкий и хваткий ум и тягу к красивой жизни, Эдик очень рано прочухал сладость плутовства как искусства и сумел втереться в доверие к «большим пацанам», в том числе — из властных коридоров. Он даже вошел сразу в две противоборствующие группировки — свиту действующего акима (губернатора) и будущего. Это его, собственно, и погубило. Первый срок он получил за экономическое мошенничество по подставе. Однако тут случилось непредвиденное ни для самого Эдика, ни для его окружения: войдя первый раз в тюрьму 22-летним пижоном, мошенником и прохиндеем, он вышел оттуда сформировавшимся правозащитником и борцом с режимом. Система облажалась в очередной раз, хотя ей и не привыкать.

Второй раз он сел уже по журналистской статье — за клевету, опубликовав в оппозиционной прессе материал-разоблачение против кого-то из сильных мира сего. Потом вышел и снова сел — на сей раз триумфально, со скандалом на весь мир. Срок ему впаяли при весьма анекдотических обстоятельствах: за вымогательство взятки у прокурора, который сам до этого вымогал и получил взятку у третьего лица — женщины-предпринимательницы. Накануне прокурор, аки тать в ночи, стопорнул с подельниками на большой дороге машину с грузом, принадлежащую этой самой предпринимательнице. Самое забавное, что Эдик действовал в этой истории не как какой-то хрен с горы, а вполне себе официально, у него была доверенность на представление интересов владелицы груза. Они с этой теткой просто хотели страсти с прокурора теткино кровное. Не вышло.

Брали Эдика в Петропавловске на квартире его невесты силами целого подразделения спецназа, в просторечии именуемого «маски-шоу». Дали в итоге совершенно людоедский срок 12 лет особого режима (прокурор отделался легким испугом). Эдик отсидел половину срока с маньяками и душегубами, вышел и стал писать книгу о своих злоключениях. В промежутках между главами он, как заправский писатель, много бухал и имел отношения с женщинами.

Адильшин чрезвычайно любвеобилен. Он вообще из тех мужиков, которые физически не могут жить вне состояния влюбленности, им обязательно надо запасть на кого-нибудь до беспамятства, вот тогда они в тонусе и ок.

Женщины, насколько я знаю, всегда отвечали Эдику взаимностью.

Некоторые даже влюблялись в него и весьма самоотверженно. Так, как

только наши женщины могут любить заключенных, полярников и моряков дальнего плавания. Его красавица-невеста обвенчалась с Эдиком в тюрьме, несколько лет ездила на свиданки, давала интервью разным СМИ, включая иностранные, в качестве жены-страдальцы, а потом внезапно повзрослела, технично обобрала мужа до нитки и подала на развод.

Несмотря на всю адильшинскую любвеобильность, мы с ним просто друзья, у нас друг на дружку не стоит. Друзья не особо близкие, но Эдик почему-то знакомил меня со всеми своими бабами, и даже — со многими из женщин. Так, он познакомил меня со Светкой.

Вышеозначенную Светку Адильшин заклеил, едва вырвавшись на волю после последней отсидки, едва не стоившей ему жизни. Врюхался он в нее, как последний лох.

— Ну скажи, скажи, что она классная! Классная же она, скажи! — хвалился Эдик последним приобретением, размякший и поглупевший, как все влюбленные.

Мы втроем сидели в летнике на улице Конституции, я смотрела во все глаза и, между нами говоря, не видела ничего «классного». Маленькая, изящная словно статуэтка, искусственная блондинка, говорящая кукольным голоском, с расчетливым взглядом холодных синих глаз, Светка приехала на нашу встречу на огромном, как танк, Ниссане Патроле. У женщин есть примета: когда мужик покупает себе огромный джип, он тем самым как бы компенсирует свой маленький член. Когда мелкая и с виду женственная баба приобретает такого монстра автопрома, это означает только одно — она отчаянно нуждается в безопасности и ищет себе такого же большого дяденьку — во всех смыслах большого, ну вы понимаете.

— Эдик, эта баба тебя бросит, не пройдет и недели. Даже так — швыранет, и тебе будет очень больно, — напорочила я Адильшину.

— Она не такая, — возмутился Эдик. — Я под ее влиянием тоже стал другим. Лучше и чище. Она мне песни по вотцапу шлет. Из караоке-бара. Сама поет.

— Ну, раз сама, тогда — возможно, — туманно высказалась я и предпочла заткнуться.

У них все очень быстро заверте. Эдик с головой ушел в новые отношения и пропал со всех радаров. Светкухватило на целых три недели, тут я ее явно недооценила.

Адильшин приехал на стрелку со мной в парк в черном костюме и ослепительно белой рубашке. Вдобавок от него на десять метров разило каким-то брутальным одеколоном. Мы поздоровались, он присел рядом на скамейку. Мы оба были в черных очках как шпионы. У меня было винишко в сумке и штопор. Холодало и быстро темнело. Мимо нас ходили моложавые парковые пенсионеры, выбрасывая вперед палки для скандинавской ходьбы.

— Странная мы с тобой парочка, — прокомментировала я наш с Адильшиным аутлук. — То ли на похороны собрались, то ли на экстренное ночное совещание в акимат?

— Не, мы с тобой как эти, ну, из «Криминального чтива», — озарился Адильшин.

— Траволта и Ума Турман? Только ты больше на Николаса Кейджа похож. На слегка постаревшего, извини.

— А ты — на молодую Уму Турман, — льстиво сказал Адильшин.

— Ну ладно, Ума так Ума, — я не стала спорить по пустякам. — Только трезва и угрюма.

— Ну, это поправимо. А скажи мне, чо ты вдруг решила напиться? Ты ж, вроде, не пьешь? Случилось что?

— Да не, просто чота как-то. Не по себе чота. Будешь моим тренером?

— По литрболу? Ну это ты точно по адресу обратилась. Ввожу в запой профессионально и так же из него вывожу. Только мне нельзя по питейным заведениями светиться, я же типа на УДО. Но это хрен с ним, главное, от ментов подальше держаться. Сколько лет ты, говоришь, не употребляла?

— Десять.

— Ого. Тогда имею предложить для вас обкатанный метод под названием «барный тур».

— Это как?

— Ну мы с тобой пойдем, типа прогуливаясь, по нашему бульвару и будем заходить во все бары и кабаки, которые нам встретятся по дороге. Это очень правильный способ плавно войти в режим алкоголизации.

— Почему правильный?

— А чтоб картинка не замыливалась и не вводила в непрошенную депрессию. Ну и потом короткие перебежки по свежему воздуху от бара до бара бодрят и освежают.

— ОК, — решительно встала я, поправив сумку на плече, — пошли тогда, чо расслаживаться?

Начали мы с приличных баров, с очень приличных. Там, где бармены как мальчишки-модели из журнала «Vogue», а официантки похожи на финалисток конкурса красоты, где к вину подают хорошую сырную тарелку, а к виски — копченую форель и имбирное печенье.

— У меня деньги есть, ты не волнуйся, — предупредил Эдик. — Я ж с тобой иду, порядок знаю.

— Да лан, я ващет дома на газетке ем. Вместе с котом, — призналась я.

— Но все равно приятно, спасибо.

Сначала мы исполнили прелюдию, то есть говорили о вещах очевидных. Он, с кучей вводных предложений, причастных и деепричастных оборотов, взволнованно поведал, что Светка — *лядь конченная. А я провела короткий, но впечатливший его ликбез, что такое лучевой цистит и как больно писать, хотя все время хочется. Где-то на третьем или четвертом баре Адильшина попустило.

— Да пошла в жопу эта Светка с ее ногтями, маникюршами и трусами за десять тысяч! Давай, я тебе одну штуку расскажу, я ее еще никому не рассказывал, только в книжке своей начал описывать, и что-то не очень идет.

— А чего никому не рассказывал-то? — усомнилась я, зная адильшинскую болтливость.

— Да стремно было, что люди меня за шизика примут.

— Я не приму, я сама шизик.

— Я знаю, — благодарно сморгнул Эдик.

— Это во время последней отсидки случилось, — начал Адильшин, заметно нервничая. — Меня в новую зону отэтапировали, где с порога начали комшмарить. Ну, избили сильно, конечно. А самое главное — два лезвия, прикинь, суки, подбросили, записали факт изъятия на видео, оформили протокол и закрыли в штрафной изолятор. А ШИЗО, знаешь, где у них был?

В бывшей мертвецкой, где они складировали трупы ээков, скопытившихся от туберкулеза. Ну, типа, они там ждали, когда родственники приедут их забрать. А родственники иногда по полгода не приезжали. Представляешь, какой там был духан?

— Представляю, — я долго боролась с собственным локтем, пытаюсь угнездить его на столешнице, и все-таки справилась. — А где ты там спал?

— На стеллаже, где трупы хранили. Там не было нар, только стеллажи для трупов. И дубак такой, что ночью дышки изо рта. И вот как-то ночью мне пришло откровение, что живым я уже из этой зоны не выйду. Я решил, что сам это сделаю. В принципе, ничего сложного. Единственное, что саднило: внук у меня, понимаешь, тогда родился, Эдик Адильшин, мой полный тезка. А я его не видел. И думал, не увижу уже.

— Печалька, — пригорюнилась я.

— Еще какая. Но я знаешь, что придумал? Письмо ему написать! Прощальное. Раздобыл бумагу, ручку и сел писать. Дней пять мучился, блин, с этим письмом.

— А что писал-то? — очнулась я, внезапно протрезвев.

— Я хотел, — ответил Эдька и отвернулся к окну. Я опустила взгляд.

— Я хотел... чтобы он посмеялся.

— В смысле, посмеялся? Это, блин, смешно?

— Ну смотри. Вот он вырос. Исполнилось ему 16 лет. Может, 17. И мой сын дает ему письмо от деда, про которого он только знает, что тот умер в тюрьме. А он читает такой и вдруг начинает ржать. Ржет как полоумный, прям по полу катается. И говорит сыну: па, а дед-то мой крутой чувак был, оказывается.

— Дай почитать. Письмо-то, — попросила я.

— Нет никакого письма. Не написал я его. Не получилось у меня. Таланту не хватило.

— Эдик, это пипец какая печальная история, — с чувством произнесла я.

— А вот и нет, — почему-то шепотом ответил Эдик. — Она не печальная. В общем... они смотрели-смотрели на мои мучения. А потом не выдержали и сами пошли на контакт.

— Кто?!

— Ну кто-кто, — Эдик понизил голос до свистящего шепота. — Зэки-туберкулезники.

— Они же мертвые. И потом... их же родственники увезли, разве нет?

— Ну увезли. И чо? Это не мешало им со мной базарить.

Я почувствовала, что сейчас самый момент хорошенько накатить.

— Девушка! — позвала я барменшу, вдруг самопроизвольно изменившую свои технические характеристики и ставшую сильно похожей на вероломную Светку, только рослую. — А принесите нам ямайского рома! У вас есть ямайский ром?

— Есть, — любезно отозвалась Светка намба ту. — Есть «Капитан Морган» и есть «Дон Кортес». Какой предпочитаете?

— Давайте Капитана, — сделал я жест царевны-лягушки, пустившейся в пляс. И обратилась уже к Эдке: — То есть, прости, ты начал слышать голоса?

— Не голоса это были! Не голоса! — затряс башкой Эдик. — Я не знаю, как это назвать. Вроде, мысли мои. Но при этом они были не мои.

— А чьи, блин?!

— Да зэков же, туберкулезников! Мысли были такие: «Братан, даже не думай! Не лезь в петлю, братан! Есть способ все изменить, ты только нас слушай, мы тебе все подробно расскажем! Мы тебя научим, как лучше поступить».

— Научили? — я разлила по тяжелым стаканам принесенного лже-Светкой Капитана Моргана.

— Научили. Пришла очень подробная инструкция. И эта инструкция была самой идиотской из всех, что я когда-либо слышал. Они велели мне писать жалобу в гражданский суд.

— Разочаровал, Эдик. Нет, ну, правда, разочаровал. Банальная такая инструкция. Тебе то же самое мог любой адвокат сказать.

— Нет! — Эдка загорелся и разнервничался. — Вера! Она не банальная. Она дебильная! Зэки не пишут жалобы в гражданский суд, чтоб ты знала. Потому что он их вообще не рассматривает! Их и уголовный-то, если честно, не рассматривает. Но тут вообщедохлый номер.

— А ты написал?

— Написал. Я им доверился.

— И чо? Подтерлись в оперчасти твоей жалобой?

— Ну да, поржали знатно. Сказали, что Адильшин в мертвецкой умом тронулся. И отправили мою жалобу в гражданский суд. Просто по приколу, понимаешь. Просто поржать чтобы. Потому что это натуральный бред сумасшедшего. Это против всех правил. Хотя правил никаких нет.

Дальше, добавлю уже от себя в сжатой версии, начались натуральные чудеса. В гражданском суде заявление зэка Адильшина отписали новенькой судье, только-только начавшей свою судейскую карьеру. («Молодой и красивой», — уточнил Адильшин. Излишнее, на мой взгляд, уточнение.) Молодая и красивая взялась за дело со всем рвением, быстро докопалась до сути, обличила тюремщиков в злоупотреблении служебными полномочиями, в фабриковании нарушения режима содержания, вынесла кучу частных определений и постановила выпустить заключенного Адильшина из ШИЗО как ни в чем не повинного. А потом его и вовсе выпустили условно-досрочно.

Встречать Эдика из зоны приехал его сын с маленьким внуком, тем самым полным тезкой, письмо которому осталось не написанным. К машине Адильшина провожали изрядно смущенные работники оперчасти, долго жали руки, просили не держать зла. Главный мучитель — капитан Ж. — напоследок метнулся в сторону и преподнес на трепетно вытянутых руках прощальный подарок — модель бригантины, сделанную трудолюбивыми сидельцами. Такие сложные модели в зоне дарили только проверяющим в звании генерала, не меньше.

«Внуку, Эдуард Романыч, бригантину подгони. От нашей зоны с любовью. Пусть играет пацан», — успел сказать даритель в окно уже отъезжающего авто.

— Слыш, Эдьк? — усомнилась я. — Наверное, это все-таки не зэки были. Может, ангелы?

— Да не, какие ангелы? — отмахнулся Эдик. — Они же на нашем зэковском языке разговаривали.

— А ты думаешь, ангелы только «вельми понеже» и «житие мое» знают? Да они запросто могут выучить любой язык мира, не говоря уже о жаргоне

отдельной социальной группы. Думаю, им не запахло даже лагерную феню освоить.

— Да не, какие ангелы? — повторил Адильшин. — Надо больно ангелам со мной корячиться. Я же в церковь не хожу и церковников ваще на дух не переношу. Навидался я их в колониях. Они ж как прокуроры: что жалуйся — что не жалуйся...

Мы ушли из этого бара, когда бар закрыли. И все остальные, кстати, тоже. На улице светало. Утро красило нежным светом. Погода за ночь изменилась. Подул шалый юго-восточный ветер. Мы с Эдькой шли, куда глаза глядят, вяло обмениваясь ничего не значащими репликами, расставаться почему-то совершенно не хотелось. Свернули в темный уютный переулок, где гудели лопасти вентиляции хлебокомбината и пахло свежееиспеченным ночной сменой хлебом.

Прошли еще квартал и остановились, как вкопанные.

— Да ну нафик, — протянула я, глубоко потрясенная.

— Он что, до сих пор существует? — присвистнул Эдик и сильно помотал башкой, издав всей головой какой-то не человеческий, а лошадиный звук.

— Глазам своим не верю.

— Может, мы с тобой попали в прошлое? Как янки у Марка Твена, помнишь, получили ломом по башке и стали попаданцами во дворе короля Артура?

— Чо? — сказал Адильшин.

— Хотя, возможно, все было еще проще, и Светка-дубль два просто подлила нам чего-то в ямайский ром?

— Ну что ты, Вера! — возмутился Эдик. — В барах такого уровня клиентам ничего в напитки не подливают. Это аморально!

— А как ты тогда объяснишь ЭТО? — я ткнула пальцем.

Прямо перед нами светился примитивными неоновыми коробами самый гнусный кабац Петропавловска середины девяностых. Почти каждую неделю там кого-то резали, насиловали или убивали, — я знаю, как собкор республиканской газеты я регулярно получала криминальные сводки из УВД.

Даже вывеска осталась прежней — «Мираж», с наполовину погасшей буквой Ж и полностью выгоревшей буквой И, отчего название кабака

читалось — «Мрак». По обе стороны от входа стояли те же самые искусственные пластиковые пальмы, призванные завлекать изнемогающих от жажды бедуинов. На пальмах, изображая райское изобилие, гроздьями висели пустые пивные бутылки, покрашенные в густой канареечный цвет.

— Зайдем? — предложил Адильшин. Глаза его горели опасным огнем.

— Так он, поди, не работает, — усомнилась я, — все ж бары уже закрыли. Утро как-никак.

Мы все-таки зашли вовнутрь, и «Мрак» поглотил нас. Его внутреннее убранство тоже не изменилось с тех самых времен: убогие колченогие столики, много резьбы по дереву — отчаянный шик девяностых — и даже светомузыка, шуровавшая над пустынным танцполом, была та же самая, эффектно выхватывающая из тьмы белые детали одежды танцующих, превращая их в удобные мишени для затаившегося снайпера.

На барной стойке грудью полулежала барменша с обильными силиконовыми вкраплениями и ресницами, от размаха которых удавился бы от зависти любой махаон. На груди у барменши горизонтально возлежал бейджик, на котором затейливыми финтифлюшками было написало былинное имя «Людмила».

— Работаете? — хрипло поинтересовался Адильшин.

— Работаем, — флегматично отозвалась барменша, с явным усилием разлепив свои махаоны. — Проходите за столик, сейчас я принесу меню.

— А где народ? — поинтересовалась я.

— Позже соберется. Работают же все, — Людмила глянула на меня, как на дурочку.

Адильшин сильно потянул меня за рукав, усадив за укромный столик в глубине бара. Столик немного пошатывался. Людмила вручила нам меню, совмещенное с картой напитков. Оно было заламинированное и липкое.

— Я хочу вина, — загапризначала я.

— Поверь мне на слово, в таких заведениях лучше пить только водку, — заявил Эдик, и продиктовал переминающейся с ноги на ногу Людмиле:

— Так, нам, значит, бутылку водки местного ЛВЗ, только смотрите, не открывайте, мы сами. Ну и овощи какие-нибудь. Не, мяса не надо, спасибо.

Дальнейшее накрыло меня перевернутым цветочным горшком, как выбежавшую из шкафа мышь. Цветами внутрь. Мне давно не было так легко и хорошо. Все мои страхи и переживания отпустили меня. Я поняла, что время в таких мирах не переписывается, и мы с Эдиком попали в пространственно-временную петлю. Я хотела донести до него эту глубочайшую мысль, но мне не хватало словарного запаса.

Тем временем, как и предсказывала Людмила, в «Мираж» стали подтягиваться завсегдатаи.

— Кто все эти люди? — спросила я у Адильшина.

— Все свои, — намахнул стопку Эдик. — Дешевые проститутки, их сутенеры, работающие с ними таксисты, мелкие криминалы всякие.

— Эдик, — я порывисто подалась вперед, — окажи мне услугу, прошу тебя. Потанцуем? Как в «Криминальном чтиве», а? — и, сидя, начала стягивать жакет, помогая себе плечами.

— Ээээ, — отозвался Эдик. По-моему, он был не в восторге от этой затеи.

Но я встала и протянула ему руку. И мы пошли танцевать. Я еще сняла туфли для полного сходства с Умой Турман.

Мы начали не торопясь, как будто во сне, типа прощупывая друг друга. Несколько раздражал тамошний музон, он был довольно поганый, но не слишком. Не помню какой. Однако в какой-то момент музон исчез, испарился внешний антураж, растворились в невесомости посетители, подул космическим ветром, полетели в лицо скопления звезд и галактик и остались только мы с Эдиком.

Мы начали с твиста, конечно, как Ума с Джоном, но твист был здесь неуместен. Думаю, со стороны наш танец смотрелся слишком чересчур. Я вам скажу, что физическая, материальная сторона вдохновения, вопреки бытующим штампам, зачастую неприятна для постороннего глаза. Творящий человек — это предельно голый человек, даже так — вывернутый наизнанку. То же самое можно сказать про танцы-импровизации. Настоящее аутентичное фламенко всегда обжигает не только танцовщиков, но и зрителей. Я говорю не про то фламенко, которое в оборках юбок и бахроме летящего мантила исполняют за деньги для туристов, а то, которое пляшут на улицах андалузских городков испанские цыганки — немолодые женщины с тяжелыми бедрами. Они вам такое расскажут своим телом, что

вам станет и лихо, и весело, и жутковато одновременно. Потому что в хорошем фламенко всегда дохрена боли.

Когда мы закончили, слева раздались одиночные хлопки. Потом справа раздались одиночные хлопки. Хлопки перешли в овацию со всех сторон. Оказывается, «Мираж» был полон затаившегося народа. Мы с Эдиком скромно раскланялись и ушли за свой столик.

К нам, раскачиваясь походкой профессионального борца, подошла плотная кряжистая девица и культурно спросила басом, старательно артикулируя, как артикулируют очень нетрезвые люди, пытающиеся закосить под трезвых:

— Не помешаю? Можно к вам присесть на минутку?

— Помешаете! — отрезал Адильшин.

— Да присаживайтесь, чоуш! — пригласила я.

Девица метнула на Эдика победный взгляд и села, стараясь держаться прямо, хотя ее постоянно кренило влево. Под правым глазом у нее красовался наспех заштукатуренный свежий бланш.

Я смотрела на нее с восхищением. Девица с бланшем полностью вписывалась в мою теорию про путешествие во времени. Она была одета и причесана точно так же, как одевались и причесывались девушки из девяностых. Клянусь, я даже разглядела блески на ее тенях и губной помаде: девушки из девяностых такие блески делали сами при помощи елочного дождя и ножниц.

— Кто это вас так? — спросила я, показав на бланш.

— Толик, мудило, кто! — отозвалась пришелица. — Ну ты же знаешь Толика? Был бы у него в тот момент ножик, вообще бы нах зарезал бы.

— Хорошо, что не было, — согласилась я.

Блескучую девицу звали Галя. Пока Адильшин очень ловко и весьма похамски не спровадил ее взад, Галя успела сообщить мне, что я крутая телка, что Толику надо дать звезды и чтобы я приходила к ним в какой-то парадиз, где она меня прикроет и в обиду не даст.

Потом мы плясали всем «Миражом» под группу «Комбинация». Плясали Галя, Марина, Ксюха, Толян и Колян, и вся остальная массовка. Даже Людмила и та, ловко лавируя между столиками и разнося заказы, делала поясницей вращательные движения и приветливо улыбалась, как вдовствующая императрица.

Вместе с нами плясали все эки-туберкулезники, все бездомные собаки и кошки, все замученные хулиганами, все сгоревшие заживо в своих постелях, спившиеся, сбросившиеся с мостов в свинцовую воду, все заболевшие и все умершие от рака, все больше не нужные, все списанные со счетов. Все, кого этот долбаный мир свысока называл лузерами. Но, знаете, мы были не лузеры. Мы были большая, страшная и могучая сила. Сила, которая намного сильнее силы сытых, благополучных и уверенных в своем сытом и благополучном завтра.

Когда мы с Эдиком покидали гостеприимный «Мираж», Галя вцепилась в меня обеими руками, не хотела меня отпускать, пыталась высказать что-то не высказываемое, топталась у дверей и в итоге облила мне грудь ядовитым пойлом из своего стакана.

Мне ужасно хотелось ее спросить. И я все-таки спросила.

— Галь, как тебе, это, в прошлом-то?

— Нормалек, — икнула Галя.

— А в настоящее не тянет? Не хочу тебя обидеть, но тут же у нас все-таки появились смартфоны, соцсети и радикальный феминизм.

— Ни фуя не тянет, — помотала головой Галя. — У меня вот чулок тянет, потому что застежка сломалась, а Толик, мудило, бабок на белье не дает.

— Ты такая милая! — с чувством воскликнула я.

— Ага, милая, — согласился Адильшин. — Пока она тебе клофелина в водку не подсыпет.

— Че ты шиздишь, — сморщилась Галя. — Ну кто сейчас с клофелином работает, ты прям как в прошлом веке застрял, в натуре?

На улице уже совсем рассвело, когда Эдик пошел меня провожать. Через весь город. Город еще спал. Начиналась суббота. Общественный транспорт еще не ходил, а такси мы вызвать не могли, так как у нас одновременно сели обе сотки. Мы начали трезветь, мир вокруг был суров и безотраден. У Адильшина вдобавок началось натуральное гоневое.

— Смотри, смотри, — шептал он лихорадочно. — Только сильно не оборачивайся. Нас сзади пасут, видишь хвост?

— Это же, вроде, баба, — неуверенно сощурилась я, наведя резкость окуляров.

— Ну и что с того, что баба? Думаешь, у них баб для такой работы нет?

— Да, точно, пасет. Смотри, как зырит. Прямо след в след идет.

— Во и я говорю: хвостиха это. Плохой симптом. Очень плохой.

— Эдик, можно, я пописать отлучусь? — попросила я жалобно. — Я до дома не дотерплю просто.

Эдик меня, похоже, не услышал. Все его внимание занимала эта мужиковатая тетка в джинсах, сидевшая у нас на хвосте и неумолимо сокращавшая дистанцию.

Когда я вышла из кустиков, я потеряла Адильшина из виду. «Во дают. Неужто уже повязали и увезли? Лихо работают, как в кино прямо», — бросило меня в пот.

Эдик и Хвостиха нашлись целые и невредимые: они сидели на лавочке павильона автобусной остановки, крепко обнявшись и затуманившись. Хвостиха вдобавок положила голову Эдику на предплечье и ласково гладила его по груди. Я протерла глаза.

— Это жена твоя, Эдичек? — умиленно спросила Хвостиха, когда я осторожно подошла к ним поближе.

— Не, это подруга. Знакомьтесь, девчата: Вера, Лена.

Мы с Хвостихой кивнули друг дружке, я изобразила подобие улыбки и села на краешек скамьи по другую, свободную сторону.

— Адильшин, — прошипела я подкольной змеищей. — Ты, млять, со своим либидо вообще с ума сбрендил? Уже спецагентов клеишь!

— Вер, — торжественно провозгласил Адильшин. — Я подругу детства встретил, Лену! Мы в одном дворе росли, в одном районе. Ленка, очуметь — не встать, ты помнишь, какая ты была?

— Да не помню я уже ничего, Эдичек. Счас-то я, посмотри, какая стала. Сильно постарела? Только честно скажи.

— Ничуточки, Лен, клянусь, офигенно выглядишь, — с большим энтузиазмом соврал Адильшин.

Ленка расплылась в беззубой улыбке.

— А я все думала: ты — не ты? Два квартала за вами шла. А дядя Миша, помнишь его? Ему ногу отняли, а потом вторую. Теть Валя живая, я ей привет от тебе передам, ага? А Надька с Сережкой ихние уехали в Россию, но пишут, что плохо им там, русские русские нас же не очень любят, ты ж знаешь. Колян с Пашкой в тюрьме сидят, уже по третьей ходке. Оксанка к Пашке-то по первости все ездила, у них же такая любовь была, помнишь, а потом нового мужика нашла и у Пашкиной матери машину отжала. Но плохо они живут, Эдичек, плохо, новый-то муж колотит ее, что ни день. А ты, — тут Ленкин голос перешел с плаксивого регистра на возвышенный, — ты-то, я гляжу, в порядке у нас. Костюм у тебе вона какой богатый. Наверное, в бизнесе работаешь? Бизнес мутишь, угадала ведь?

— Ну, что-то вроде этого, — закивал головой Адильшин.

— Как же я рада за тебя, — хлопнула себя Ленка по джинсовой ляжке.

— Один ты из нашего двора в люди вышел! Я тетёВале и дядёМише от тебя приветы передам, ладно? ТетёВаля-то баба злая, а дядёМиша — тот порадуетя, ты ж его знаешь...

Мы обнялись на прощание с растроганной Ленкой, подняли воротники пиджаков и быстро зашагали прочь. Мне снова захотелось писать, но я боялась оставить Эдика одного.

Из меня выходили ночь, отчаянье, радиация, алкоголь...

КВАДРАТ МАНЕВИЧА

— Верк, а Верк? Знаешь, чо такое квадрат Маневича? — подмигнул красивый как черт художник Ленька Абрамцев, пишущий гиперреалистические ню в натуральную величину. — Не знаешь? А я тебе скажуууу, я скажуууу. Это сам Маневич, его бывшая жена, его нынешняя жена и его любовница.

И сам заржал над своей шуткой.

— Любовный квадрат, точняк. У меня как-то был по молодости. Эта штукавина вообще не подчиняется законам геометрии. Потому что в нем все углы — тупые, — хохотнул нефигуративист Потапов по прозвищу Потап.

— Хотя, это... Вот мы ржем, а может, Кешка Маневич скажет этим квадратом новое слово в искусстве?

— Не, ребзя, это безнадега точка ру. И Кешечку можно только пожалеть: прикиньте, столько баб, и каждая со своей придурью. Наверное, карма какая-то неотработанная в прошлых жизнях, — пожал плечами Ленька.

— Да вы просто завидуете, мужики, признайтесь, — встряла Ленка Бахметьева, пейзажистка в прованском стиле. — Просто Кеша Маневич — талант и умница, умеет зарабатывать, к нему бабки сами в руки плывут, а вы все — фуфло непризнанное.

— Ну, фуфло, — миролюбиво согласился большой добродушный Потап. — И чо? На хера мне столько зарабатывать, как Кешью, чтобы потом все на вас, на бабищ, уходило? Я лучше копеечку заработаю, на нее чекушечку куплю маленькую и будет мне немножечко хорошо. И картинку накрашу. А лучше пять. И зря ты вот наговариваешь, Ленка, у меня последнее время неплохо картинки продаются, тьфу-тьфу-тьфу...

Ленька Абрамцев, Потап и Ленка Бахметьева вместе с объектом разгоревшейся дискуссии Кешей Маневичем были участниками международного арт-симпозиума в Вестфалии. И иже с ними — еще дюжина художников из разных стран мира, включая меня и моего мужа Валеру, которого все называли — Валерыч.

К моменту этого разговора арт-симпозиум уже хорошо перевалил за середину, много было всего говорено-переговорено, а еще больше выпито, мы сдружились, и, конечно, переживали за хорошего парня Кешу, который на наших глазах умудрился влипнуть в тяжелейшую жизненную ситуацию. Каждый болельщик видел из нее свой исход, сообразно со своим личным опытом и темпераментом.

— Что бы мы, ребята, тут ни болтали, но давайте не забывать, что своей головы Кешке не приставишь, не приставишь, — сокрушенно гудел Потап, подводя резюме.

Поскольку у читателя может возникнуть закономерный вопрос: а что такое, собственно, арт-симпозиум, и как нас всех туда, на берега Рейна-то занесло, проясню ситуацию. Арт-симпозиум — это такое мероприятие, которое сильно отличается по духу и букве от просто симпозиума. Во-первых, там не сидят солидные господа и дамы в пиджаках и не обсуждают животрепещущие проблемы современной науки. Во-вторых, там много пьют. В-третьих, там красят картинки и режут скульптуры.

В те благословенные времена, когда люди и представить не могли, что возможна такая фигня как ковид-19, арт-симпозиумы были модной фишкой в Европе. И проводили их все кому не лень, — начиная от галеристов и музейщиков и заканчивая отелями. Вот, скажем, некий отель в живописной сельской глубинке начал терять былую популярность, у хозяев резко упали доходы или, наоборот, отель недавно открыли и его следовало бы раскрутить, — тогда владелец берет и объявляет в интернетах о проведении арт-симпозиума. На этот зов тут же отзывается туева куча разных художников со всего мира. Как правило, предложение намного превышает спрос, и орги потом долго копаются в резюме кандидатов, отбирая самых «то, что надо».

Чтобы быть востребованным на арт-симпозиуме, мало быть просто художником. Нужно быть еще и артистом — причем, не в английском, а в русском значении этого слова. То есть уметь творить на публику и вообще любить это дело — общаться с людьми. Не каждый художник это сможет и не каждому это, строго говоря, надо. Но без этого никак. Ведь любой арт-симпозиум — своего рода контактный зоопарк. В уик-энд туда, к примеру, съезжается толпа народа из окрестных деревень и небольших городков — с детьми и собачками: поглазеть, как работают художники и скульпторы, выпить с ними по бокальчику, а если повезет, то заказать или купить готовую картинку или вытесанную на твоих глазах садовую скульптуру.

Для художника же арт-симпозиум — тоже сплошная выгода: на целые две, а то и три недели выкинуть из головы заботы о хлебе насущном и вообще — о крыше над головой. Все расходы по содержанию берут на себя организаторы. Орги же выдают холсты, кисти и краски в неограниченном количестве. А вдобавок ко всему можно еще удачно продаться на итоговом аукционе и увезти домой некоторую денежку. От участника требовалось лишь оплатить дорогу, но эти расходы часто окупались с лихвой.

В общем, ежу понятно, почему многие художники подсаживались на арт-симпозиумы, как на наркотик. Кеша Маневич, успешный скульптор из Мюнхена, был одним из таких. Мы с Валерычем познакомились с Кешей за год до Вестфалии — на шабаше перепончатокрылых в Голландии — на нашем первом арт-симпозиуме.

Кеша был родом из Красноярска, но уже давно жил в Германии, адаптировался к тамошнему рынку, знал все ходы-выходы. И великодушно просвещал нетронутых цивилизацией провинциалов — нас с Валерой.

— Заканчиваются рождественские каникулы, подкатывают муть и депрессуха. И вот тут самое время усесться за комп и начать просматривать анонсы на грядущее лето. Их обычно до хера, — вдохновенно размахивал руками Кеша, кайфуя от самого себя. — Ну, что-то я отбраковываю сам, у меня уже чуйка на всякую тухлятину. Вот, скажем, зовут на Лазурный берег, профан бы купился, а я знаю этого галериста по отзывам — жмотяра отъявленный! Не, ну это ж надо — на родине знаменитых прованских вин поить художников дерьмом из тетрапаков! Короче, рассылаю свои резюме, штук двадцать, по разным адресам. Примерно в десяти случаях из двадцати меня посылают на хер, но я чо? Я утрюсь, ведь остальные-то десять все мои! И тогда я сажусь с картой и календарем и расписываю, как я проведу свое лето. Это такой кайф, ребята. Например, в этом году сезон начался в июне в Италии, в городке на Неаполитанском заливе. Оттуда сразу же сюда, отсюда лечу в баварскую глубинку, — там ликер «Егермайстер», яблочный штрудель и краснощекие девки. Потом Болгария, Золотые пески, — маленький отель, но очень приятная компания. Август... Так, значит, август мы празднуем в Уэльсе, надо как следует продрогнуть на ветру залива, чтобы потом завершить турне в благословенной Умбрии, на фестивале шоколада в Перудже.

Кеша, на тот момент разменявший свой шестой десяток, один в один был Шишок, персонаж из русских народных сказок. Хотя Кеша — чистокровный еврей. Маленького роста, сильно бородатый и приятно пузатенький, Кеша был, что называется, секси-мэн. Еврейские мужики, я хочу сказать, с возрастом прям начинают фонить и выделять сексапил в окружающее пространство, такая у них особенность. Совсем не обязательно быть женщиной-труженицей трудной сексуальной судьбы, чтобы считать это на раз-два-три. Конечно, нечто такое можно сказать и про иных представителей отдельных южных народов, но не про всех. У евреев сексапильность мягкая, бархатная и ненавязчивая. Стайеры они, бегуны на длинные дистанции. Молодцы, конечно, чоуш тут скажешь.

При всем при этом Кеша был примерный семьянин. На тот арт-симпозиум в Голландию, где мы познакомились, он прибыл степенно, с обширным багажом, с супругой Либой и третьим членом семьи Маневичей — юной немочкой Иззи, готического вида девицей с психоделическим взглядом. Мы по наивности приняли Иззи за дочку. Но ошиблись. Иззи официально исполняла роль музы при мэтре Маневиче. До Либы Кеша, на минуточку, был четырежды женат.

Влившись в тусовку, обе Кешины женщины, что называется, оказались удачно пристроены. Либа взяла на себя роль поварихи и готовила на всю гоп-компанию. А Иззи исполняла роль «тоже скульпторши», что-то лепила из пластилина. Что-то, напоминающее поделки воспитанников младшей группы детского сада. Орги, впрочем, легко смирились с существованием Иззи: Кеша был ценный участник. А без музы художнику никак нельзя. С Либой и мириться не нужно было, Либа есть Либа.

«Это великая женщина, — вздыхал завистливый Потап. — Ведь она сделала то, чего не удалось ни одной из ее предшественниц — приспособить Маневича к регулярному заработку!»

Заработок заключался в том, чтобы ваять скульптурные авторские надгробия и горельефы на могильных плитах. Похоронный бизнес со всеми его многообразными ответвлениями — очень процветающий бизнес в любой стране мира. Либа имела связи и умела четко разделять вещи существенные и несущественные, и закрывать на последние глаза. К примеру, надгробия и могильные плиты были вещи существенные. В отличие от всяких там муз.

Вот почему мы с Валерычем очень обрадовались, когда, собираясь в Вестфалию, увидели среди фотографий потенциальных участников знакомую бороду и лукаво прищуренные шишковские глазки. А тут еще русская девушка Катя, исполнявшая роли переводчицы и вообще человека, курировавшего вопросы логистики и расселения гостей, сообщила по телефону:

— В аэропорту вас встретит наш участник, скульптор Иннокентий Маневич. Он сказал, что вы его знаете.

— Кеша! Ну кто ж его не знает? — воскликнула я почти рок-н-рольной цитатой там, в своем заснеженном северном Казахстане.

— Очень хорошо, значит, не разминетесь. Вы все вместе заберете еще одну художницу из России. Она так удачно прилетает, ее рейс буквально через полчаса после вашего, и вы сразу же поедете в отель. Как раз вас будет четверо в машине, очень замечательно, — разулыбалась Катя, довольная тем, что четверых художников из пятнадцати подфартило так удачно спрессовать.

Мы прилетели ранним вечером, и из самолетного чрева через щупальцу телескопического трапа вошли прямо в здание Дюссельдорфского аэропорта.

...Я люблю аэропорты. В них пахнет обещанием счастья. Мне нравятся их стеклянные двери и зеркальные полы. В аэропортах разряжается плотность бытия (это на вокзалах бытие свинцово материализуется), и все мы, прилетевшие, улетающие и ожидающие, становимся немного бесплотными, немного ангелами. В аэропортах что-то такое открывается людям, что-то очень важное о мироздании и о всяком таком. И люди бы это что-то важное поняли и прочувствовали, если бы не были так заняты дорожной суетой, багажом, покупкой билетов, пяланием в смартфоны на ходу, очередями в туалеты и раздражением на ближнего своего, купившего последний пончик с розовой глазурью прямо перед твоим носом.

Мы сразу узнали Кешу Маневича в разноликой толпе встречающих. И не узнали одновременно. Потому что на Кеше не было лица.

— Ребят, как же я вам рад, — с надрывом сказал Кеша, едва вынырнув из бурных объятий. — Очень извиняюсь, вы, наверное, устали, из такой дали-то добирались. Но мы сейчас еще одну участницу встретим, из Красноярска. И сразу поедem. Прошу прощения за доставленное неудобство.

— Да что ты, Кеша, какой разговор, — ответили мы.

— А пока ее ждем, пойдемте, что ли, в Старбакс, кофейку дрябнем, — предложил Кеша. — Эээх, ща бы не кофейку, конечно, но я за рулем.

— Да что ты, Кеша, какой разговор, — повторили мы. — Дрябнем еще, не переживай ты так.

Мы сразу обратили внимание, что с Кешей что-то явно не то. Он производил странное впечатление. Его откровенно колбасило. В аэропорту повсюду работают мощные кондеи, а у человека пот на лбу выступает крупными каплями, как вы думаете, это вообще нормально? Кеша то и дело промакивал капли большим клетчатым платком, доставая его из заднего кармана джинсов.

— Дружище, что с тобой? Ты не заболел ли, часом? — спросил Валера.

— Ну... Я как в военкомате: не здоров, а годен, — вяло по привычке сдохмил Маневич. — Тут другое... Вы даже не представляете, какая херня приключилась. Знаете, мы кого встречать сейчас будем?

— Ангелу Меркель?

— Зинку, Зинку, *бать мой лысый череп.

— А кто это?

— Моя бывшая из моей бывшей жизни в моем бывшем Красноярске!

— выпалил Кеша, явно любуясь произведенным впечатлением. — Она ведь тоже художница и, кстати, довольно известная. Заслуженную не так давно получила. Преподает. Но лошадинаяааа! Лошадина же! Вот черт ее дернул подать заявку именно на наш симпозиум, а оргов — утвердить ее. Наверняка выслеживала меня. И таки выследила!

— А Либа тут? — расширила я глаза от ужаса.

— Ну где ж ей быть-то? И Либа, и Иззи. Но Иззи-то пофигу мороз: она вроде как тут и не тут одновременно. А вот Либа... тончайшей душевной выделки женщина. Как она все это переживает, я прямо не знаю. Как вообще можно пережить Зинку? Валерыч, скажи мне, как мужик мужику, чо делать?

— Не знаю, друг, извини, я в такой ситуации не был, — деликатно откашлялся Валерыч, выразительно скосив на меня глаза. Я, конечно, засекла, но сделала вид, что не заметила. Тут такая драма, можно сказать, разворачивается. До взглядов ли?

— Кеш. А может, ты это? Сгущаешь невольно краски? Сколько лет этой твоей Зинке?

— Как и мне. Мы же ровесники. В худучилище еще поженились.

— Прости, ты до сих пор ее любишь? — уточнила я.

— Нет, — твердо ответил Маневич. — Я что, дебил? Я Либу свою люблю, — и полез в задний карман за платком.

Объявили прибытие рейса из Красноярска. Мы все трое зачем-то взглянули на часы и тревожно — друг на друга. Зинаида надвигалась на нас и город Дюссельдорф как ураган Жанна на жителей острова Гаити. Пикирующая Немезида в эти минуты как раз пошла на посадку. Вот она пристегивает ремень безопасности, вот надвигает на соболиные брови малиновый берет и усмехается своим мыслям. Самолет кренится на крыло, пилоты запрашивают свободную полосу. Предзакатное солнце слепит Зинаиду,

и она, слегка морщась, опускает шторку иллюминатора. Дикторша повторяет объявление космическим голосом — сначала по-немецки, потом по-английски.

Кеша поворачивает ко мне бескровное лицо человека, приговоренного к смертной казни, и жутковато улыбается. У него хорошие фарфоровые зубы, нажитые тяжелым трудом камнереза в мюнхенском похоронном бюро. «Не дрейфьте, Иннокентий Львович, делов-то. Соберись, тряпка!» — шепчу я, пихая Кешу в бок.

Если в моей жизни и случались грандиозные разочарования, то первое появление Зинаиды было одним из. Перед нами буднично толкала свой клетчатый чемоданчик на колесиках самая обычная пенсионерка-грибница из российской электрички: простенькая косыночка, повязанная узлом сзади и старомодная ветровочка из плащовки какого-то мыльного зеленоватого цвета. Ничего опасного в ее облике не было. К тому же Зинка-роковуха явно выглядела старше Кеши: их люди все-таки отлично консервируются в этих самых европах. Мы выразительно посмотрели на Кешу, надеясь, что он, наконец, очнется, расколдуется, облегченно выдохнет и станет привычным нам расслабленным и юморным Кешей. Но Кеша был все так же напряжен и взвинчен.

Они сухо обменялись с Зинаидой приветствиями. Потом Маневич церемонно представил нас друг другу, и внезапно взвизгнул истеричным фальцетом:

— Чо ты приперлась? Не угомонилась еще? Ты за мной шпионишь? Шпионишь, говори, да? Разворачивайся и улетай взад! Я тебе денег на дорогу туда-обратно дам.

— Дай, — спокойно ответствовала Зинка и раскрыла ладонь. Ладонь у нее были узкая, обратила я внимание, и весьма красивой формы.

— Сука! — крикнул Кеша, развернулся и пошел на выход в город. Мы с Валерой и Зинкой потащились за ним, влача за собой свои чемоданы.

До отеля мы добирались в безмолвии. Зинаида, кажется, дремала. Да и Кеша, вопреки обыкновению, был не слишком словоохотлив.

В шезлонгах у входа в замок со сложными лицами возлежали Либа и несколько особо приближенных к ней дам-художниц. Три пепельницы

на садовом столике были полны окурков, окровавленных всеми оттенками помады. Очевидно, что общественное мнение было подготовлено и хорошо унавожено к приезду красноярской гостьи.

При сравнении двух величин, что называется, в натуральном виде, стало окончательно ясно, что Зинка проигрывает Либе по всем статьям. Либа была эффектная женщина ярко выраженного сефардического типа под стописят кэгэ веса, вся звенящая земными браслетами и небесными кимвалами. Своего Кешу она любила знойно и горячно. Это была любовь с первого взгляда и до последнего вздоха.

— Рыбочки мои, как только я его увидела, то сразу поняла, что эта крышечка к моей кастрюлечке, — рассказывала Либа историю их знакомства сочувствующим художницам. — И ведь только-только зажили как люди. Чтоб так было каждый день! За Кешиными надгробиями в Мюнхене очередь выстраивается. Это большая честь — быть зарытым под надгробием скульптора Маневича, чтоб вы знали. А тут такой поворот. Нет, надо было нам все-таки ехать на Французскую Ривьеру. Нас же с Кешечкой звали на Французскую Ривьеру...

Пришло самое время описать декорации, в которых нам всем предстояло отыграть эти два акта с антрактом. Замок-отель по праву считался главной, если не единственной достопримечательностью немецкого городка, можно сказать, деревни. Трехэтажный, из темно-красного кирпича, заросший плющом, замок не так давно поменял владельца. Нынешняя хозяйка, — наполовину немка, наполовину француженка, — фрау Шарлотта зачем-то купила отель, переживающий не самые лучшие времена. Кто-то подучил ее подогреть остывающий интерес постояльцев при помощи людей искусства — художников и музыкантов.

Шарлотта второй год владела замком и второй год подряд организовывала арт-симпозиумы и музыкальные лаборатории под открытым небом. Причем, настолько вошла в роль меценатки, что на одной из тусовок подобрала едва не сбомжевавшего гитариста из Уругвая, и зажили они с фрау Шарлоттой мужем с женой.

Они были неплохие ребята, Шарлотта и ее Габриэль, вот только ездить с ними в одной машине я бы никому не посоветовала. Страсти в этой ячейке немецкого общества кипели нешуточные, а темперамент бил через край. Шарлотта с Габби постоянно ругались на людях, и хуже всего, что они ругались в машине, когда Шарлотта ее вела. Она бросала руль, воздевала руки к небу, потом начинались взаимные легкие тычки, машину вело юзом

по узкой проселочной трассе, и пассажирам на заднем сидении (чаще всего это были мы с Валерычем) оставалось только молиться да кричать по-русски в самые адреналиновые моменты: «Шарлотта, твою мать, хватай же руль, наконец!»

По-немецки и по-французски мы не разумели, а английский в такие минуты напрочь забывали.

Зинка-лошадина, воцарившись под сводами замка, с первого дня выторговала себе у Шарлотты особые условия. Она не клоун и не паяц, а заслуженный художник России и даже целый преподаватель, — сообщила Зинка Шарлотте через переводчицу Катю (та, как могла, смягчила некоторые выражения), поэтому будет работать келейно, в своей комнате. И вообще не собирается гнаться за валом, а напишет одно-единственное полотно, но такое, что приобрести его сочтет за честь для себя сам музей Людвига в Кельне. Полотно это будет апофеозом достижений всей истории изобразительного искусства, начиная с эпохи Возрождения и до наших дней. Катя, передавая любопытствующим этот диалог, особо подчеркнула, что Зинка сказала это ТАК, с такой властью в голосе, что Шарлотта сразу обмякла и покорно ответила «Окей, окей». Из чего мы, циничные русские, заключили, что Шарлотта ведется на понты, как последняя пэтэушница из поселка Большие Впердюки.

Так что Зинаиду мы практически не видели, разве что изредка в нашей средневековой трапезной, куда художники, ошалевшие от творческого транса и знаменитого немецкого айсвайна, стягивались по вечерам на братскую трапезу.

Отлично помню явление Зинки народу в первый ужин. Не, ну я, конечно, сама баба и знаю, что все мы, бабы, ведьмы, но Зинка тогда явила высший пилотаж. По старинной красивой лестнице медленно спускалась величественная женщина, скользя белой рукой по лакированным широким перилам. Женщина была в черном маленьком платье и в нитке поддельного жемчуга. Возраста на женщине не было.

Кеша при виде Зинки позеленел от злости и как-то нехорошо надулся, словно собрался блевануть. Я грешным делом подумала: может, Либа, безраздельно властвовавшая на кухне, отравила Маневича из ревности? В этой самой трапезной испокон веку было заведено травить людей. Этим с чувством, с толком, с расстановкой занимались самые разные

персонажи, — сначала придворная челядь Карла Великого, потом монахи-бенедиктинцы, которым Карл пожаловал свои покои, позже какой-то барон, потомок рыцарей Тевтонского ордена, — бедняга тоже умер не своей смертью. Почему бы Кеше не быть следующим?

Однако, пораскинув мозгами, я все-таки пришла к выводу, что Либбе логичнее будет отравить Зинаиду. И именно Зинаиде стоит опасаться принимать пищу, побывавшую в Либиных руках. Но Зинаида, похоже, не боялась ни Либбу, ни самого дьявола. Очень скоро среди художников прошел хабар, что кто-то видел их на свиданке в темной аллее под сенью вековых каштанов. Кешу и Зинку, да-да. Якобы они сидели на скамейке и держались за руки. Мнения разделились. Многие считали, что такого не может быть просто потому, что не может быть никогда. И что Потапу, пустившему этот слух, надо меньше пить. Однако всех нас роднило стойкое ощущение, что охота началась. И что, как у Кипплинга, это будет славная охота.

— На что повелся-то? — горевала мужская часть «русской секции» шарлоттиноготеля. — Ладно бы была молодая задорная баба, ээээх...

— Ну сбился немного мужик, с кем не бывает? Прооооойдет. Я вам так скажу: для нормального мужика женщина-ровесница в сексуальном плане просто не существует, — авторитетно высказывался Ленка Абрамцев. — Это какие-то ученые доказали, только не ржите, но, вроде, английские.

— Английские! Чо бы они понимали! Я больше японцам в этом вопросе доверяю. А они считают, что большой талант и большая любовь вызревают поздно, — пицчала романтическая пейзажистка Ленка Бахметьева. — Как таинственный плод на Древе Судьбы. По себе знаю, мальчишки. Хотите, я вам одну историю из своей жизни расскажу?..

— Лен, давай, слушай, как-нибудь в следующий раз, — отмахивались циничные «мальчишки». Они явно не верили в большую любовь в 50+.

Между тем, в келью Зинаиды, где она работала над своим шедевром, была вхожа только одна из нас — старая хиппи-художница Пэскуэла. Пэскуэла в юности училась живописи в Советском Союзе, где научилась виртуозно ругаться русским матом.

— Это что-то необыкновенное, грандиозное! Там на одном полотне сошлись Венера Боттичелли, проститутки Тулуз-Лотрека и разрезанные хирургами женщины Фриды Кало, — эмоционаровала Пэскуэла по-испански, замирая

в почти религиозном экстазе, и прибавляла по-русски с нежностью в голосе:
— Йопанивроооо!

С Кешей тоже происходили явные метаморфозы. Он, скульптор хорошей классической школы, вдруг начал лихорадочно работать в совершенно новой для себя модернистской манере, ваяя из дерева и декоративного камня каждый божий день по шедевр. Особенно всех потрясла скульптура кричащей женщины. В женщине явно угадывались Зинкины черты.

— Меня-то он ни разу за всю нашу жизнь не изваял, — мрачно твердила Либа, уставившись в одну точку. Они с девочками, по обыкновению, сидели на кухне с фруктовым пирогом и бутылкой доброго айсвайна.

— Либа, опомнись, ты же сама говорила, что он только скульптурные надгробия делает. Ты что, хотела украсить собой чью-то могилу? — суетливо ахала Ленка Бахметьева.

— Могилу?! — драматически вскрикивала Либа, да так, что сама Сара Бернар дорого бы дала за такую интонацию. — Могилу?! Так тому и быть! Теперь только могила рассудит нас.

Одна Иззи совсем не парилась. Она нашла в нашей деревне подходящую компанию из двух психоделических юношей с гитарами и зависала вечерами в деревенском баре, где означенные юноши лабали свой музон. Лепить из пластилина Иззи бросила, но отряд не заметил потери бойца. Все внимание было приковано к страстям, кипевшем теперь уже в любовном треугольнике.

Все ждали развязку, и она не замедлила случиться. У Либы с Кешей состоялся тот самый разговор. Он объявил ей, что благодарен по гроб жизни и все такое, что она сделала из него человека и все такое, но он вдруг вспомнил, что он не человек, а художник, а художник в нем все эти годы спал с бодунища, и только теперь проснулся, — в общем, Кеша на коленях просил Либу понять, простить и отпустить его назад в Красноярск.

— Видишь? — Либа слепила кукиш и, звеня браслетами, приставила к самому Кешиному носу. — Никогда этому не бывать! Никогда! Я не отпущу тебя в эту ужасную страну, в этот ужасный город, к этой ужасной женщине. Это все равно что отправить тебя на верную смерть. Они втроем высосут из тебя все соки и бросят подышать под забором. Вспомни своих друзей юности, талантливых ребят! Ты хочешь для себя такой же судьбы?

И тут Кеша заплакал.

Заплакал на Либином плече.

Общественность увидела эту сцену глазами вездесущей Ленки Бахметьевой, но не сомневается, что все именно так и было. Может быть, драматургически еще более мощно, чем Ленка была в состоянии изложить.

Арт-симпозиум наш, между тем, подходил к концу. Все ждали итогового аукциона, на который должны были прибыть богатые коллекционеры и прочие покупатели искусства из окрестных городов, даже из самого Кельна, и немецкая пресса, участие коей влетело Шарлотте в копеечку. Все наши как могли принарядились, волновались, все хотели понравиться, удачно продаться, а потом как следует отметить это дело в лесной резиденции самого главного нашего мецената — герра Мюллера. Про эту резиденцию мы были много наслышаны, например, про то, что там жили благородные олени, которые никогда в своей жизни не видели человека с ружьем и доверчиво выходили к гостям. Перспектива напиться в компании с благородными оленями почему-то всех очень воодушевила.

Аукцион был назначен на 11 утра, однако художники встали с самого с ранья и слонялись в приятном возбуждении вокруг шведского стола, накрытого для завтрака. И тут кто-то (не помню кто) сообщил оглушительную новость, что Зинаида уехала.

— Куда уехала?

— Ну, домой, в Красноярск.

— Как уехала? Да ну, фигня какая-то! А как же ее грандиозное творение? Надо срочно поставить в известность Шарлотту, — вскричало сразу с полдюжины голосов.

Побежали за Шарлоттой. Прибежала вся в красных пятнах Шарлотта. Побежали вместе с Шарлоттой, отдавливая друг дружке пятки на ступенях узкой лестницы, ведущей под своды замка. И открылось нам следующее.

Посредине узкой, как пенал, Зинаидиной кельи стоял складной мольберт. На мольберте стояла Зинаидина картина. Она была тщательно закрашена черной краской: этакий гигантский квадрат Малевича, ну то есть Казимира, который через букву «л».

— А Зинка-то акционистка, — весело присвистнул Потап. — Руку мастера всегда видать. Я бы только еще слово ЙУХ поверху большими красными буквами.

— Kackfotzenhurengesicht! — взвизгнула Шарлотта на нечеловеческих децибелах.

Признаться, мы все испугались, что с ней случится удар. Как же она вопила, бедная. Катя потом перевела безъязыким, то и дело опуская девичий взор от смущения.

— Русские разрушительны, они дикари, живущие во власти своих эмоций, с ними нельзя иметь никаких дел! — надрывалась Шарлотта. — Мне говорили, меня предупреждали! Русские никогда не выполняют условия контракта, им плевать на правила, они живут по своим. И, кроме того, они столько пьют! Гораздо больше немцев, французов, испанцев и марокканцев, вместе взятых. Никогда больше не буду приглашать русских. Никогда больше. Никогда!!!

Ну а потом начался аукцион и прошел очень успешно. Приехали богатые немцы и скупили много картин и скульптур. Особенно хорошо проданся, конечно, Кеша. Его модернистские скульптуры разлетелись как горячие пирожки. Немецкая пресса в лице двух дам бальзаковского возраста написала хвалебные рецензии в местных газетках — персонально несколько слов о каждом художнике. Даже я удостоилась пары предложений. Помню, даму-критикессу торкнула моя работа под названием «Ню с улиткой» (очень мясистая барышня на глубоком синем фоне, по которой сладострастно ползает гигантская улитка с рожками). «Художница из Казахстана Vera Gavrilko, — отметила критикесса, — представила на суд публики феминистское прочтение излюбленного мотива Дали, который, как известно, был увлечен образом улитки, — животного, сочетающего в себе мягкость (тело) и жесткость (панцирь). Однако, в отличие от Дали, Vera Gavrilko исследует аутоэротизм женщины, половое влечение, замкнутое и направленное на самое себя».

— Поздравляю, — сказал на это Валерыч, попыхивая папироской.

— Ты теперь стопяцотпроцентная художница, потому что заезжая искусствоедка написала про тебя глубокомысленную фуйню...

Либа была счастлива и выглядела именинницей. Кеша был тих и малость пришиблен. Шарлотта успокоилась и во время вечеринки с оленями, которая оказалась выше всяких похвал, напилась, расчувствовалась и попросила

прощения у русских художников и у всего русского искусства. Русское искусство в нашем лице великодушно простило Шарлотту.

Что сказать об оленях? Они были офигенные.

Олени были офигенные.

С тех пор прошло почти 15 лет. События моей жизни и лица людей из прошлого все чаще будят меня по ночам. Я посыпаюсь, словно от удара током, и спрашиваю вслух: «Леха, да ну нафик, ты ли это, как постарел». Или «Маринка, ну на хера ты пришла ко мне в сон, да еще бухая в жопу, иди пропись!» Они замолкают, когда я начинаю говорить. Я понимаю, им разрешено говорить только по ту сторону сна.

Вот и Кеша с Либой и Зинкой тоже приходили. Я спросила: «Ну чо у вас там, как все в итоге разрулилось-то и разрулилось ли вообще?» Они ничего не ответили. Либа смотрела на меня в упор грустно и проникновенно, Зинка манерно курила сигарету, а Кеша виновато колупал обои. Я мысленно пожелала им всем счастья.

Я понимаю, впрочем, что счастье художника — штука довольно специфическая. Как, впрочем, и любовь художника (слово «художник» я сейчас употребляю в широком смысле слова, ну, вы понимаете).

Я догадываюсь, что же на самом деле едва не толкнуло Кешу в объятия его прошлой женщины и его прошлой жизни. Конечно, не секс и не что-то там другое, упавшее на старые дрожжи.

Понимаете... Если художник хоть немного честен сам с собой, то он никогда не обольщается на свой счет. Он точно знает про себя, кто он такой. Он — передаст, транслирующее устройство. Вне процесса трансляции, когда она по какой-то причине прерывается, художник может быть (и зачастую бывает) скучнейшим обывателем, заурядным, пошлым человечком и одновременно — очень несчастным существом. Как писал Пушкин: «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он».

Поэтому художник одновременно невинен, как дитя, и греховен, как прожженная портовая шлюха. Таинственную кнопку «старт» могут активировать в художнике как полярные духовные сущности, так и люди. Люди, как правило, гораздо чаще. И случается это не по чьему-то там хотению, а по щучьему велению. Почему одним это удастся, а другим нет, хоть они об стенку разбейся — нифига не ясно, вопрос открытый. Ясно одно:

такого человека, если он случится в жизни художника, художник не забудет уже никогда.

Ну вот как можно забыть освобождение из тюрьмы? Вот я, например, никогда не сидела в тюрьме, но я сидела в тюрьме. Я страдала, я рыла по ночам тайный лаз, я страстно мечтала о воле, а потом перегорела, сдулась, смирилась с обстоятельствами и стала образцовым арестантом. Научилась громко и четко называть свои фамилию и статью на утренней перекличке, ходить в общем строе на работы, есть баланду из алюминиевой миски и находить во всем этом некое извращенное удовольствие. Ведь человек так устроен, что он умеет находить удовольствие в любой, простите за прямоту, жопе, потому что он иначе не выживет. И вдруг приходит другой человек и говорит арестанту: беги! И широко открывает железную дверь...

Вот так к Кеше однажды пришла Зинка и сказала: беги! А он весь задрожал, почувствовав ноздрями, как пахнет вольный ветер, но в последний момент сдал сообщницу надзирателю и предпочел остаться внутри. Не все так просто, конечно. Там, на самом деле, было дохренища сопутствующих обстоятельств, привязанностей и склонностей, но главная суть, как я понимаю, выглядит именно так. Это глубинные вещи и к тому же очень болезненные.

Я знаю, о чем говорю. Я замужем за художником двадцать лет. И мы то живем, то не живем вместе. Короче, как говорил герой Артура Конана Дойла, если жизнь и рассудок дороги вам — держитесь подальше от Гримпенской трясины.

Сейчас, например, я живу с котом и псом. Вечерами мы ходим с моим псом на прогулку. Маршрут у нас всегда один и тот же: мы доходим до небольшого сквера и упираемся в скульптурную композицию — детище очередного градоначальника. Это полый квадрат, в котором заперт неприятный бесполой персонаж. Иногда он кажется мне женщиной, а иногда — мужчиной. Персонаж что-то кричит, но его никто не слышит.

Пес старый и начинает сильно прихрамывать, и тогда мы садимся отдыхать: он на асфальт, а я — на желтую скверную скамейку. В отличие от запертого в квадрат безголосого человека, скамейки имеют ярко выраженные голоса. Это юные безмозглые голоса подростков-скейтбордистов, которые расписывают сидения и спинки перманентными маркерами.

«Любовь сука это боль», — кричала миру прямо в лицо желтая скамейка. Я села на нее и закрыла своей задницей слова «любовь», «сука» и «это».

Осталась только «боль», но, лишенная поддержки, она уже не так сильно болела. Можно сказать, и вовсе почти обесценилась...

ВЕРХОТУРЬЕ

Это не документалистика, а автофикшн. Все совпадения персонажей с реальными людьми являются случайными и не могут являться поводом для привлечения автора к суду и следствию.

Нынче ночью опять был Голос, который внятно и властно сказал: «Вера, поезжай в Верхотурье! И это даже не обсуждается».

— На какие шиши? — поинтересовалась я у Голоса, вложив в этот незамысловатый вопрос слишком много смыслов и подсмыслов.

Голос замолчал. Я так поняла, занялся изысканием финансовых ресурсов для будущей экспедиции. Дорогое Мрзд не слишком врубается во всяческие подтексты и любит прямые конкретные вопросы.

Так вот, Верхотурье. Это место на карте. 300 км к северу от Екатеринбурга. Если вам нужна суконно-посконная метафора России, то лучше не найдете. Город-острог и город-монастырь. Первыми острожанами были пленные шведы, изъятые из сраженья под Полтавой. Из них сколько-то там пасторов. Так что жизнь в уральском глубинном верхотурье зародилась при помощи Божьего слова и пистолета (или мушкета — что там использовали в конце шестнадцатого века для насилия государства над личностью?).

Не эти ли специфические обстоятельства породили своевольный дух верхотурцев, которые частично происходят из откинувшихся заключенных, осевших на лесозаготовках, частично — из монахов (на маленький городок здесь целых два монастыря — мужской и женский, соединенные, по слухам, подземным лазом), частично — из таежных промысловых охотников — вогулов. Маленький городок, почти деревня. Но тоже — со своей потусторонностью, отраженной, к примеру, в архитектуре. В Верхотурье находится самый маленький в России кремль и третий по величине — после московского Храма Христа Спасителя и питерского Исаакия — Крестовоздвиженский храм.

Представляете, в заштатном городишке, официально — самом малонаселенном на Урале, на краю географии — гигантская изумительной красоты церковь, построенная в византийском пышном стиле.

Сейчас там покоятся мощи Симеона Верхотурского, юродивого, мягко говоря, совершенно не типичного в понимании современников. Симеон был первым (и, наверное, единственным) дауншифтером Смутного времени, основавшим совершенно новый для Руси тип святости — «опрощение». Выходец из богатейшей боярской фамилии, этот странный человек ходил по северным деревням и шил крестьянам полушубки. Денег за работу Симеон не брал, довольствуясь ночлегом и куском хлеба. Дабы не вводить хозяев в соблазн заплатить, оставлял одежду символически не дошитой. Хоть пару стежков, но не завершал.

Уходил Симеон всегда на рассвете, не прощаясь, оставляя на столе новую шубу или тулуп. Это зимой. А летом вообще уединялся в каком-нибудь шалашике близ Туры, питаясь рыбой и лесными дарами.

Я помню Крестовоздвиженский храм — центр Николаевского мужского монастыря — оскверненным, поруганным, среди груд мусора, но даже в этой скверне фантастически красивым.

Мы въехали в монастырь на следующий день после того, как из него вывезли колонию для несовершеннолетних преступников. Сохранился в мельчайших подробностях весь колонистский быт и антураж. Помню, выход из монастыря венчал гигантский лозунг «На свободу — с чистой совестью!». Ели мы из арестантских алюминиевых мисок. Спали — на двухэтажных ржавых койках с прикрученными проволокой бирками с фамилиями юных сидельцев и номерами статей УК, по которым они чалились.

— Девчонки, вам чью подушечку: убийцы или насильника? Выбирайте, сны будут сниться — Фредди Крюгер нервно курит, — приветливо расплылся студент-архитектор Юра.

— А других нет? — спросили мы с Танькой.

— Есть, как же. Вот воспитанник Титоренко, вооруженный грабеж, совершенный в группе.

— Давай грабеж, — мрачно сказала я. — Спать очень хочется.

И провалилась в мутный разбойничий сон...

Оказалось, даже отпетым разбойникам снится всяческое ля-ля-фа. Мне приснился командир стройотряда «Мечта». Имени тогдашнего предмета моих грез и воздыханий вспомнить сейчас не могу. Хоть убейте. Но ведь надо его как-то обозначить. Подмывает похулиганить и назвать его Мухамед, но он, конечно же, был Васей. Василий Мухамедович, пусть будет так. Так очень даже хорошо.

Стройотряд «Мечта» был самым успешным проектом уральского стройотрядовского движения в конце 80-х — начале 90-х. Принимали в него не шелупонь всякую, а крепких старшекурсников инженерных специальностей. Руководство отряда славилось умением договариваться с директорами совхозов, ловко делать подкаты и откаты и вообще решать проблемы по-взрослому. В прочие отряды мальчики ехали за романтикой. В «Мечту» ехали мужи — за бабками. И очень удачно ездили. Говорили, после двух сезонов в «Мечте» простой студент запросто мог купить себе тачку. Непростые приобретали иномарки.

Василий Мухамедович был царек и божок. Как филологическую деву, таскающую в рюкзаке Марселя Пруста, меня вело и плющило в его присутствии. Впрочем, как второкурсница самого отвязного фака УрГУ, я виду не показывала, красиво курила, презрительно выпуская дым из ноздрей, и лениво переспрашивала, когда Василий Мухамедович уж слишком явно начинал врать прессе: «Сколько-сколько квадратных метров коровников вы сдали в текущем месяце?» Вася краснел, что было для него не типично. А меня снова вело и плющило, и никакие коровники уже не спасали. Никакие квадратные метры вранья.

Простите, сначала я должна объяснить, что делала в этом самом Верхотурье и как туда попала. Меня сблатовала однокурсница Танька. Именно она принесла на хвосте новость, что местная молодежная газета «На смену!» (в народе — «Насменка») набирает студентов журфака для прохождения летней практики в пресс-центре «Рокада». Нужно было на два месяца отправиться в какие-нибудь уральские ебеня освещать стройотрядовское движение. «Насменка» потом публиковала наши опусы раз месяц на тематической полосе.

От идеи так и веяло слабоумием и отвагой, и я ее, понятное дело, горячо приветствовала. Танька знала, в ком встретит понимание. Мы начали готовиться за несколько месяцев. Первым делом в магазине «Рабочая одежда» были куплены брезентовые роботы, именуемые «целинками».

«Целинку» надо было раскрасить гуашью и увешать значками и нашивками, как у бывалых сэсэошников.

— Рокада — это дорога, которая идет параллельно линии фронта, — объяснила я знакомому екатеринбургскому художнику, и он за бутылку «Акдама» нетвердой, но решительной рукой вывел на моей спине пустынное железнодорожное полотно, уходящее к горизонту, прямо в дремучий лес, над которым вставало лучистое солнце. С фантазией у художника было не очень.

Живописец глотнул «Акдама» прямо из горла, и глаза у него загорелись.

— Давай еще взрывы везде нафигачим и горящий фашистский танк!

— Не надо, — неуверенно ответила я. — Мы мирные люди.

— Матри. Тебе жить, — меланхолично отозвался живописец. И ушел в двухнедельный запой.

Городок Верхотурье очаровал нас с Танькой уже на вокзале. Я сразу поняла, что это заколдованное место. Здесь остановилось время. Часы на городском вокзале стояли. В зале ожидания, через который мы пробежали на рысях, спеша на автобус, сидели три пьяницы в одинаковых позах (нога на ногу, голова на правом плече) и сладко спали. Клянусь, у них даже были одинаковые носки — бывшего белого цвета.

Нам нужен был автобус, бегавший через весь городок по маршруту «Вокзал — Аэропорт». В Верхотурье когда-то был аэропорт. Наверное, туда прилетали геологи — транзитом в иные туманы, — пили в буфете обжигающий жидкий кофе и ели пирожки с ливером на кружевных картонных тарелочках, дергались, поглядывали на часы, ждали это заветное «Объявляется рейс на Денежкин Камень». Все, как в больших портах мира, все по-серьезке. Только трап не подъезжал к борту, а пассажиры уходили по высоченной траве по пояс. Там на бетонке ждал маленький усталый самолетик, под крылом его было столько пето-перепето, уже заканчивалась эпоха Великих строек, и грустен был самолетик, и грустила белокурая диспетчер Анюта, чувствуя, как проходит и ее короткий бабий век...

В 90-е годы аэропорт в Верхотурье упразднили за нерентабельностью, и Анюту уволили, и буфетчицу Клавку, и здание стояло заброшенное в шелковистых травах, утопая под многозвездным северным летом, где ночью паслись и фыркали призрачные кони, а по утрам их сменяли овцы.

Летом в аэропорту располагался районный штаб ССО, куда мы с Танькой были прикомандированы в качестве прессы. Вместе с нами в штабе проживали: начальник штаба Кирюшкин, комиссар Ирина и студент меда Мишель, исполняющий обязанности доктора.

Отношения у нас как-то сразу не сложились. Они были другие, из другого теста: комсомольские функционеры, уже выстроившие в своих головах блестящие карьеры, и методично, шаг за шагом, следующие плану. Скучные обыватели, мутные илистые рыбы. А мы с Танькой убегали ночью в поле, завели дружбу с местными безобидными пройдохами, с беспутной Анютой и домовитой Клавдией, с дедом Мишаней, многоженцем и экс-поваром ресторана «Уральские пельмени», и часто по утрам выходили на балкон бывшей диспетчерской, закутавшись в простыни, с чашкой горячего чая, и беседовали с овцами: «О, приветствую вас, граждане свободного Рима!» Овцы, все как одна, переставали жевать, и очень внимательно слушали всю ту галиматью, что мы имели им сказать.

Штаб в это время завтракал яичницей-болтуньей на кухне в недобром молчании.

— Где они? — нервно спрашивал Кирюшкин.

— Они читают овцам стихи, — объявляла Ирина, поджав тонкие губы.

— Принесла же нелегкая нам этих журиков, — вздыхал Кирюшкин. — Может, других попросим, повменяемее, пока не поздно.

— Других не бывает. Они все примерно одинаковые, — ронял метросексуал Мишель, полируя ногти.

— Е*анутые, что ли, все? — не понимал простоватый Кирюшкин.

Ирина с Мишелем с тоской переглядывались и хором выносили вердикт: «Все!»

Но однажды это случилось. Однажды поздним вечером, когда поле вокруг взлетной полосы затянуло мерцающей росой и верхотурские мальчишки вывели в ночное лошадей, в штаб по каким-то срочным делам приехал на своем запыленном военном джипе сам Василий Мухамедович.

Мы столкнулись на узкой лестнице, ведущей в зал ожидания и диспетчерскую, нашу с Танькой девичью светелку. Я спускалась вниз,

а он поднимался вверх. Лестница была такая узкая, что мы протискивались сквозь друг дружку целую вечность, извиняясь и краснея, а когда все-таки протиснулись, у меня осталось стойкое впечатление, что мы только что занимались сексом. Диким необузданным преступным сексом.

— А где все? — спросил Василий Мухамедович, с трудом переведя дух.

— А? — я ничего не слышала от стука собственного сердца.

— Где члены штаба? — откашлялся Василий Мухамедович.

— Там, — махнула я ослабевшей рукой. — А вы кто?

— Командир «Мечты», — ответил он.

— Офуеть, — подумала я. — Офуеть.

Потом долго переживала, не подумала ли я вслух? С меня вообще стало бы.

В общем, тогда я поняла, ради чего жила все свои 18 лет.

Это была очень глупая мысль.

Очень-очень глупая мысль.

Так часто бывает, когда глупые мысли кажутся умными, а умные — наоборот.

Особенно в 18 лет.

Выдержав для приличия пару дней, я засобиравлась в деревню N., где «Мечта» клепала свои коровники.

— Очень хорошая инициатива, — поощрила меня куратор тематической полосы (я позвонила ей из редакции верхотурской газеты, которая по договору должна была оказывать «столичным штучкам» всяческую помощь и поддержку). — Сделай боевой репортаж с места. Живенько так. Остренько. Вообще вы, девчонки, молодцы, а то эти ваши сидят в своих райцентрах, в поле калачом не выманишь. Даю тебе двести строк, Вера!

Это была неслыханная щедрость. Мне выписали командировочные. И на следующее утро я тряслась в автобусе, салон которого был богато декорирован дембельскими аксельбантами и многочисленными изображениями икон, вырезанных из журнала «Огонек».

В «Мечте» мне обрадовались. Василий Мухамедович, насилу разбуженный отрядной девчонкой-«поварешкой», вышел во всем начальственном блеске и повел показывать хозяйство. Кругом бурлила жизнь, тюкали топорики, загорелые парни таскали доски. Мы долго ходили по солнцепеку, потом я по отдельности интервьюировала ребят, извела половину пленки в фотоаппарате, потом мы ели солдатскую кашу, потом все пошли работать, а я валялась в тенечке и жевала сладкие стебли травы. Пробовала писать в блокноте, но настроение было совершенно не рабочее.

Василий Мухамедович бухнулся рядом так неожиданно, что я вскочила.

— Пойдем в столовку компоту выпьем, жарко сегодня даже.

Та самая «поварешка», странно хихикая, принесла компот в большом эмалированном чайнике и два граненых стакана. Компот был ледяной. Голова ватная.

— Ты надолго к нам даже? — деловито спросил Василий.

— Сегодня уеду. Редактор статью ждет.

— А где статейку тиснешь?

— В «Насменке».

— Это в Ебурге, что ли? Круто.

Василий по-воровски оглянулся и придвинулся поближе.

— Ты это... подожди, завтра уедешь.

— А чо завтра?

— Завтра директор совхоза приедет, он тебе много хорошего про наш отряд расскажет. Тебе же надо это, объективную картину?

— Надо.

— Вот. Будет тебе объективная картина.

— Ну, не знаю, — засомневалась я. — А где я ночевать буду? Тут гостиницы же нет?

— Зачем гостиница, — искренне удивился Василий Мухамедович. — Ты чо, мать, как неродная?

И опять где-то прыснула невидимая поварешка, заготовили граненые стаканы, ухмыльнулся эмалированный чайник, покатались со смеху ложки.

Василий Мухамедович сидел и скалил зубы посреди этого шабаша, и я подумала, что вот он, волк, который меня съест. И самое ужасное, что я покорно, как овца из свободного Рима, сама пойду в его пасть.

— Посмотрим, — буркнула я и отвела взгляд. — До вечернего автобуса еще есть время подумать.

— Думай быстрее, — ощерился Серый Волк, — до автобуса всего два часа.

— А не час?

— Это по старому расписанию. А сейчас новое. Ладно, пойдем я тебе нашу гордость покажу — школу. Мы же не только коровники строим. Школу в деревне капитально отремонтировали, в счет шефской помощи!

— Что ж ты молчал! — ахнула я.

— А я не сразу открываюсь, а постепенно. И только избранным.

В общем, открылся в тот вечер Василий Мухамедович с такой избранной стороны, что звук пощечины в кабинете географии слышала, наверное, вся деревня, после чего приезжая журналистка, очень рассерженная, вышла за околицу и зашагала в стороны шоссе. Смеркалось. Никто меня не догнал и не вернул. Довольно скоро я дотопала до остановки и съежилась в углу искромсанной ножами скамейки. Очень хотелось плакать. Изредка по шоссе проносились огромные лесовозы. Не было ни души. Похолодало, накрапывал дождь. Я начала постукивать зубами в своей брезентовке. Ну где этот долбаный автобус? По моим расчетам, он должен уже полчаса как прибыть. А если Василий наврал про новое расписание? Что делать? Остаться на безлюдной трассе среди вековой тайги было страшно. Еще страшнее (и позорнее!) казалось вернуться назад.

Я так ушла в свои горестные мысли, что не сразу поняла, откуда он вышел. Старик этот. Ясно, что из леса, хотя, по всем ощущениям, материализовался из воздуха. Старичок был в овечьем тулупе (в августе месяце!) и с сеткой-вязанкой, набитой бутылками «Столичной». В Верхотурье в те годы был суровый сухой закон. Чего вот он делает здесь с этой водкой? Дальнобойщикам из-под полы продает?

Дед подошел, поздоровался и с облегчением рухнул на скамью.

— Посижу с тобой, красавица. Уморился я сегодня по лесу-то ходить.

Скамейка была короткая, как раз для двоих — третий лишний.

Лицо старика я разглядела плохо. Во-первых, порядком стемнело, во-вторых, оно было наполовину закрыто большими квадратными очками с мутными линзами. Дужки и переносица перемотаны синей изолентой.

— Студентка?

— Угу.

— А куда черти на ночь глядя понесли?

— На кудыкину гору.

— Ты деду Семену не дерзи. Ишь, дерзкая какая.

— А то чо?

— Ничо, — весело отозвался старик. — Жалко мне тебя, дурешку. И горе твое луковое, как на ладони. И помочь как знаю. Только ведь захочешь ли, чтобы помог?

— Дедушка-дедушка, зачем вам так много водки? — собрав всю свою язвительность, спросила я.

Дед вздохнул, полез в карман и достал другие очки, еще более древние, чем те, что сидели у него на носу, протер стекла куском газеты и произвел замену. Вторые очки тоже были перемотаны изолентой, только черной. Вытащил из сетки одну бутылку, поднес к глазам, удовлетворенно хмыкнул и сунул бутылку мне под нос:

— Читай.

На бумажной этикетке поверх «Водка русская» простым карандашом было накалякано: «Вода родниковая». Старикан открыл крышку и снова сунул мне бутылку:

— Нюхай!

Я понюхала.

— Сильней нюхай! Водкой пахнет?

— Ну, не пахнет.

— А чем пахнет?

— Ничем не пахнет.

— Вот! — старик торжествующе воздел к небу узловатый палец. — Ничем! Великая чистота сие есть. И альфа, и омега, и соль земли!

— Из родника, что ли, набрали? — осенило меня.

— Из родника. И родник тот потаенный, вода в нем целебная, хворых людей на ноги поднимает. А если прямо из родника ладошкой зачерпнешь и напьешься — можешь желание загадывать. Любое. Только родник сам решает, исполнить его или нет.

— Как это он решает?

— А он душу твою видит насквозь.

— Дедуль, спасибо за занимательный сказ Бажова в вольном переводе, только желание у меня на данный момент лишь одно: уехать отсюда как можно быстрее.

— А куды тебе?

— В аэропорт.

— А не уедешь. Автобус последний почти два часа назад ушел. Ладно-ладно, не плачь. Не зря ты дедушку Семена встретила. Дедушка Семен тебе поможет. Не плачь, милая.

Дед засуетился. Переобул свои диковинные очки. Бережно приспособил сетку с бутылками на скамейку, нахохлился и шагнул из-под навеса в дождь. Дождь уже перестал капать и разошелся не на шутку.

На удивление быстро он стопорнул очередной лесовоз, стремительно договорился с шофером и снова нырнул под навес, по куриному отряхиваясь.

— Карета подана.

— Не поеду я, — шепнула я дедушке.

— Тю, чего так? — удивился благодетель — Не бойся, это свой человек, ничего он тебе не сделает.

— Ваш знакомый?

Лесовоз нетерпеливо просигналил. Водила высунулся из окна. Мне он показался каким-то злым.

— Знакомый-знакомый. Все люди промеж себя знакомые. Езжай себе с миром, ничего не бойся.

Я почувствовала дикую усталость и решила: поеду, будь что будет. В конце концов, оставаться с этим полоумным дедом на трассе тоже приятного мало.

— Приезжай, внученька! Буду ждать тебя, — ласково заблеял дедок.
Грузовик рванул с места.

Езды до нашего аэродрома было недолго — с полчаса. Некоторое время мы ехали молча. Водила первым нарушил тягостное молчание.

— Ты чо, правда колдуна внучка?

— Правда.

— Странно. Люди говорили, одинокий он, никого у него нет.

— Я есть.

— Ну я вижу, что ты есть. Студентка?

— Угу.

— В Катере учишься?

— Угу.

— На кого?

— На журналиста.

— Лучше б на товароведа пошла.

— Конечно, лучше. Но там конкурс большой был. Не прошла, баллов нужных не добрала.

Водила как-то смягчился. Вероятно, ему приятно было узнать, что не все могут колдуны.

Дорога бежала впереди гладкая и мокрая. Дождь внезапно кончился.

— А ты это, сама-то умеешь?

— Чего?

— Ну колдовать, чего?

— Умею маленько. Дедушка кое-чему научил.

— И чо умеешь?

Мне этот экзамен по практической магии уже порядком надоел, и я ляпнула:

— Порчу умею напускать!

— Удивила, — расхохотался водила. — Этак любая ваша сестра в окрестных деревнях может. Баба моя недавно с соседкой поругалась, и навела на нее, значит, в бане это дело. Бесенят ей в наволочку напруськала, так та по ночам из дому выскочит в чем мать родила и по деревне так бегают.

— Зачем?

— Как это зачем? Порченная баба, тебе говорят.

Водила резко свернул к обочине, выключил мотор и полез куда-то под сиденье, раскидывая пропахшую бензином ветошь.

— Э, дядинька, вы чего?

— Посиди тут. Я быстро, — шофер вынырнул с десятилитровой пластиковой канистрой. — Родник тут есть, недалеко от трассы. Я в нем всегда воду беру.

— Родник?

— Ну.

— Вы это... Возьмите меня с собой. Я пить хочу.

— Да пошли, вода-то не купленная.

И мы с водилой спрыгнули в студеную, как уже оказалось, предночь, освещенную фарами нашего грузовика и щедрыми августовскими звездами.

В лесу было темно, хоть глаз выколи, но водитель захватил фонарик. В его луче вспыхивали и гасли капли недавнего дождя на еловых лапах. Мы шли по мягкой тропе, усыпанной прошлогодней хвоей, неслышно, как дикие звери. Родник действительно оказался недалеко от дороги, — закамуфлированный листьями папоротника, он дал о себе знать мелодичным журчанием. Мою душу внезапно затопила нежность. Я прислушалась к себе: да, нежность. К роднику.

Водила сноровисто набрал воды и посторонился, уступая место, подсвечивая фонариком. Я наклонилась над родником и поразились его чистоте: в луче света каждый камешек на дне был виден.

— Холодный какой...

— Лед. Смотри, не свались. Пей да поживей. Вон там кружка на ветке висит, видишь.

— Не, я так.

Я зачерпнула родник ладонью и задумалась: о чем его попросить? Может, пусть чудо явит? Только вот какое же чудо?

— Ну, чего зависла, я ждать не буду! — прикрикнули сверху.

— Ладно, пусть будет просто Чудо, родник, — тихо попросила я. — На твое, в общем, усмотрение. Но только, чтобы сразу было понятно, даже тупым, что это — Чудо. И еще, — тут я понизила голос и прошептала: — Пусть в меня влюбится Василий. Прямо по-настоящему, чтоб спать не мог, не ел, не пил, а только стихи сочинял. Пусть хреновые. Это не важно. Ну родник, ну миленький, сделаешь? Очень надо, ну что тебе стоит?

И хлебнула забористой водицы, от которой, конечно же, заныли зубы, но я мужественно зачерпнула вторую пригоршню и выпила всю до капли.

Весь оставшийся отрезок до моего аэропорта Федор, так звали водителя, пел под нос украинскую народную песню «Несе Галя воду, коромисло гнеться». А я мысленно ему подпевала.

Аэропорт встретил полной иллюминацией и ором, хорошо слышным даже на подступах. Я ускорила шаг и заглянула в окно кухни. Все обитатели были на месте. Боевая подруга Танька стояла спиной и что-то яростно мешала в кастрюльке на газплите. Комиссар Ирина голосила на отчаянных децибелах, бегая кругами от избытка чувств. Кирюшкин набылчился за столом и что-то нервически жрал. Мишель по обыкновению пилил ногти, но было видно, что ему весь этот скандал очень нравится.

Я протиснулась бочком и села на табуретку возле двери, чтобы не прерывать спектакль. Меня никто не заметил, — прикрывала ситцевая занавеска. К тому же, штабисты были очень увлечены.

— Вы безответственные, — моноложила Ирина. — Безыдейные. На вас нельзя положиться. Вас прислали, чтобы вы освещали движение ССО, его высокую общественно-политическую миссию. А вы ни разу не написали даже о командире штаба, как он ночей не спит, над показателями работает, бьется как рыба об пол...

— Об лед, — подсказал Мишель.

— Неважно, — отмахнулась Ирина.

— Богема хренова, — гудел Кирюшкин с набитым ртом. — Прислали вас на нашу голову.

— Вот где она сейчас? Где? — голосила Ирина. — Ночь на дворе, между прочим. Может, лежит в лесу с перерезанным горлом. А нам отвечать.

— Типун тебе под язык, — буркнула Танька, не поворачиваясь. Судя по запаху, она варила гречневую кашу, и каша пригорела.

— На язык, — поправил Мишель и предостерегающе поднял руки. — Ир, извини, я не хотел.

Ирина хотела что-то ответить, но я решила, что с меня достаточно, и с восклицанием «Сюпрайз!» отбросила занавеску. Они уставились на меня, не мигая, и открыли рты. Мишель первым справился с собой и прыснул.

Танька завизжала и кинулась обниматься.

— Ты где была? — только и спросила Ирина. Она как-то разом сдулась.

— В мечте.

— Не ври, мы звонили в «Мечту», там сказали, что ты еще днем уехала, — начал было Кирюшкин, но Ирина с Мишелем почему-то шикнули на него, он и заткнулся.

Наверху в светелке мы с Татьяной уселись на матрасы на полу, служившие нам постелью, поставили посредине кастрюльку с гречкой и уминали ее с большим аппетитом. Танька, блестя глазами, рассказала новости, случившиеся днем в мое отсутствие. Они были, без преувеличения, феерическими. Тусуясь в городе по редакционным делам, Танька встретила на рынке парней из нашего универа, с истфака. Если бы в Верхотурье высадился десант инопланетян, я бы и то не так удивилась. Студенты-гуманитарии к стройотрядовскому движению особой склонности не питали. Но тут и случай был особый.

— Они приехали монастырь реставрировать, — тараторила Танька. — Тот, что в центре города, мужской. Стену монастырскую будут поднимать, которая завалилась, ну, ближе к реке которая, знаешь? Причем каким-то дедовским ручным способом, каким в древней Руси крепостные стены после осады починяли. Они спецом весь семестр в архивах сидели, готовились. А с ними — студенты-архитекторы. В общем, наши люди, не то, что эти. С ними поговорить хоть есть о чем и вообще. Я им про наши мытарства рассказала, так они сразу предложили — бери подругу и приходите к нам.

Места в монастыре достаточно, поставим вас на довольствие. Нам журналисты и хорошие люди очень нужны. Надо валить отсюда, Верк.

Валить решено было завтра. Но перед тем, как мы навсегда покинули аэропорт, случилось кое-что из ряда вон выходящее.

Утро в диспетчерской началось обычно, даже обыденно: тапки, кипятильник, беспросветно горький растворимый кофе без сахара, казенное одеяло вместо халата, балкон, поле, небо. Чашка с кофе опасно стоит на перилах, того и гляди — навернется, но внизу никого нет, кто бы мог пострадать, даже овцы не пришли. Небо выполосканное и выглаженное, как парадная летная форма. Я не поверила своим глазам: подрагивая легкими крыльями, на посадку заходил самолетик-кукурузник. Родник явил чудо. Чашка с кофе тоже офигела и упала в обморок — вниз, в густую траву. Теперь не найдешь, пожалуй.

Навстречу самолетику, как в замедленном кино, бежит толпа поселян, ощерившаяся кольями и вилами. Впереди здоровенный мужик — предводитель. У мужика на плечах — богатый меховой палантин. Он придерживает его обеими руками, чтобы не свалился во время лихой скачки. Самолетик касается колесами бетонки. Из кабины чертиком катапультируется пилот и бесстрашно бросается на вооруженных селян. Толпа останавливается в десяти метрах от самолета.

— Кто стрелял? — орет пилот. — Убьюсукунах, кто стрелял?

— Ну, я стрелял, — выходит вперед мужик в меховом палантине.

— И я не только стрелял. Я тебя, выпердыш коровий, сейчас собственными руками задушу.

Мужику не хватает воздуха, его душат меха, он срывает с себя палантин, тяжелый как мешок и швыряет его на бетонку между собой и пилотом. И тут я понимаю, что это овца. Мертвая овца. И что случилось страшное.

Из дальнейшего диалога стало понятно, что именно. Летчик на кукурузнике опрыскивал ядохимикатами совхозные поля. А остатки отравы вылил на поле, где верхотурцы пасли скотину. Несколько овец почувствовали себя дурно, а одна скончалась. Это ее тушу великан притащил на себе в качестве вещдока. У летчика были свои резоны: ему недолили керосина, а яда — наоборот, налили под завязку. Полный бак. И пилот пошел на ядовитительство: слил остатки отравы на поле, которое оказалось

пастбищем. Верхотурцы, как люди простые и отзывчивые, обстреляли самолет из своих охотничьих берданок. Благо, не попали в летчика и не пробили бензобак.

— Тань, они сейчас убьют его, — крикнула я. Мы кубарем спустились с лестницы и выбежали в поле в своих серых казенных одеялах, похожие на монахов странствующего нищего ордена, призванные не допустить смертоубийства.

Смертоубийства, впрочем, не случилось. Помешала мертвая овца. Она внезапно воскресла. Встала на дрожащие ноги, дико озираясь и сделала несколько неуверенных шагов по бетонке, потом резво взбрыкнула и понеслась вскачь.

— Держи ее! — завопила толпа, радостный овцевладелец пустился за беглянкой и настиг ее скоро, так как овца была еще неверна в движениях. Мужик сел на траву, обнял овцу и заплакал. Толпа заплодировала. Летчик угрюмо колупал обшивку.

— Этого и следовало было ожидать, — буркнул он. — Не, ну че вы как маленькие, честное слово. Разбавленный химикат-то был. Кто ж вам сейчас чистого нальет?

— Улетайте, товарищ пилот, — от всей души посоветовала я. — Теперь вас убьют директор совхоза и главный агроном.

Летчик понял, что дал маху в своих признаниях, покраснел, залез в кабину и улетел.

А мы к вечеру этого дня купили у деда Мишани браги и ушли в монастырь.

Верхотурье — городок маленький, малоэтажный, густо утыканный домами и огородами. Поэтому, где бы ты ни находился, Храм всегда рядом с тобой. Чуть сместишь ракурс, собирая грибы на засолку в пригородном лесочке, а он выглядывает из-за деревьев на горизонте: как ты там, грибочок, не заплутал ли, прием-прием? То выплывает из тумана, когда шагаешь с рюкзаком за плечами, гулкий и бесприютный, по безлюдному утреннему городку. И нависает прямо над тобой. Если кто-то бывал в небольших приморских городах, когда в порт, где колышутся на привязи невесомые скорлупки яхт, входит многопалубный круизный лайнер, — наверняка помнит это чувство полной ирреальности происходящего. Ты задираешь голову, и тебе кажется, что ты спишь, а лайнер плывет прямо на тебя, сквозь

тебя. Мир иных величин. Очень легко повредиться рассудком, если туда внезапно углубиться.

Не знаю, на такой ли крышесносный эффект рассчитывал архитектор Храма, спроектировавший эдакую громаду, — третий по величине собор в России, — в уральском захолустье, но столь явное нарушение пропорций не прошло бесследно. Земля налетела на земную ось и разверзлись хляби небесные. От Храма фонило почище, чем от атомного реактора. Энергии били наотмашь и, оттолкнувшись от земли, столбом уходили снова в небо.

Удивительно, что местные жители, родившиеся под сенью Храма, его как будто не замечали, в упор не видели. Когда я спрашивала, есть ли у них некое сакральное чувство защищенности, мол, живут-де у Христа за пазухой, местные смотрели ясными глазами и отвечали: «Схуяли?»

— Ну как же? Храм-то?

— Но он же не вспашет мне огород, — бойко откликались местные, завершая так и не начавшийся богословский диспут каким-нибудь философским трюизмом, вроде «на Бога надейся, а сам не плошись» или «Богу молись, а к берегу гребись».

Но тут же охотно и очень подробно объясняли заблудившемуся путешественнику, как покороче пройти к Храму, впрочем, пристыженный путешественник тут же понимал всю бессмысленность своих расспросов, ибо стоило ему завернуть за ближайший угол, как Храм выныривал и смотрел на него добродушно и безмятежно. Он был большой любитель поиграть в прятки, как все великаны. И как все великаны, не догадывался, что шансов спрятаться у него — ноль.

Кстати, за все время нахождения в монастыре мы так ни разу не попали вовнутрь. Подступы к Храму были надежно забаррикадированы грудями ржавых панцирных сеток от кроватей и прочего крупнокалиберного мусора, а двери забиты досками. Можно было, конечно, и попытаться, но студент-архитектор Юра, с ходу взявший над нами шефство, предупредил:

— В храм проникать запрещается во избежание конфликтов с верующими.

— С какими верующими? Тут же не верует никто, — смеялись мы с Танькой.

— Ну-ну, — саркастически усмехался Юра. — Молодые ишшо, поживете — увидите.

В этом суровом мужском коллективе мы быстро стали своими. Особенно близко подружились с вышеупомянутым Юрой и студентом истфака Пашкой Толоконниковым по прозвищу Толокон. Личность в своем роде легендарная, Толокон отслужил в самом пекле недавнего Афгана — Кандагаре. Он никогда не рассказывал о войне, словно стеснялся этого факта из своей биографии. Был он невысокого роста, худой и жилистый, обросший черной бородой. За глаза его звали еще Пашка-дух, он и правда был чем-то похож на «духа», в смысле, душмана, — то ли восточной лепкой своего лица с тонким носом, то ли природной смуглостью. Только глаза — ярко-синие, какой-то даже вызывающей синевы. В свободное время Пашка таскался в обнимку с гитарой, он так ловко с ней управлялся, что она казалась его третьей рукой. Вместе с Толоконом мы перепели у костра все песни, сколько их существует в природе: от бардовских до панковских и дембельских, а когда у него уставали руки, Пашка проделывал такой трюк — закидывал гитару на плечи и мог так играть даже на ходу, вызывая всеобщий восторг. Эту привычку он привез с войны, конечно.

Жизнь в монастыре, впрочем, не была разлюли-малина. Это была трудовая размеренная жизнь. Каждый был занят своим делом. Ребята готовились решить сложную задачу — поднять завалившуюся монастырскую стену старинным способом, без применения техники. Мне эта идея казалась слегка безумной и очень опасной. Но Юра, один из активных разработчиков, объяснил, что бояться нечего, самое трудное было рассчитать определенные точки, где нужно установить подъемные рычаги.

— Вообще, рычаг при грамотном приложении может и не такой вес осилить. Это еще Архимед понимал. Помните его знаменитое: дайте мне точку опоры, и я переверну Землю, — просвещал нас Юра. — Эти точки мы рассчитали: вот, вот и вот здесь еще. Ждем, когда завезут все необходимое, и начнем, благословясь.

— А если стена не поддастся, если завалится? — пыталась я. — Завалит же всех нафиг.

— Не завалит, — снисходительно улыбался Юрка. — Мы со своим рычагом будем стоять таким образом, чтобы при любой внештатной ситуации успеть выскочить из зоны обрушения.

На День Подъема официальных гостей решено было не звать: Сан Саныч, старший препод АрхИ, был человек суеверный и, к тому же, сильно переживающий за студентов и за исход дела. Все-таки не каждый день крепостные стены поднимать приходилось. Было за что переживать.

— Да тут еще, как назло, эти пришли нервы мотать, — с утра интеллигентнейший Сан Саныч был вздрючен неведомым нам происшествием. — Монахи эти. Целая делегация, человек десять. Освобождайте, говорят, монастырь, и знать ничего не знаем. Я им говорю: ребята, да вы что такое говорите, мы же на благо монастырю работаем, вот стену реставрируем, вы чего? А они свое долдонят: ничего, мол, не знаем, мы сегодня же заселяемся, никого светских тут быть не должно. Ну и я тоже психанул. Не сдержался: когда, говорю, передадут монастырь в ведение Патриархии, вот тогда и будете свои порядки заводить, а пока он под юрисдикцией государства. И такой же наш, как и ваш.

— Нельзя им монастырь отдавать, — убежденно прокомментировал Юрка.

— А тебе не все ли равно? — пожала я плечами. — И потом, он как бы их изначально, разве нет?

— Так они ж заберут, замки амбарные навесят и никого не пустят. Ни тебя, ни меня. Будут деньги за экскурсии драть с приезжающих. Ничего личного, только бизнес.

— Ну тогда это очень странная идея, — расхохоталась я. — Забрать монастырь? Вот этот вот храм-громадину? Да это все равно что забрать небо. Или солнце. Забери-ка его, попробуй!

Юра хотел что-то возразить, но передумал. Странно покосился.

Процедуру поднятия стены я не забуду никогда. Они действительно все очень точно рассчитали, студенты из архитектурного. И точку приложения рычагов, и их длину. Одного не учли: силенок оказалось маловато. Стена не шла. Долго не шла. В какой-то момент в ней с нехорошим звуком что-то булькнуло, и на поверхности проступили несколько тонких трещин. Сан Саныч вовремя заметил это.

— Ребята, бросайте! Бросайте лаги! Врассыпную!

Но почему-то никто лаги не бросил и не убежал. Неизвестно, чем бы кончилась эта история, если бы не Толокон. Мы никто не успели глазом моргнуть, как он бросился к самому опасному месту — почти у основания рычага и схватился за него жилистыми худыми руками.

— Навалиииииииись! — скомандовал он парням.

Стена дрогнула и медленно стала выпрямляться. И встала на место послушно и легко — как тут и была.

В тот вечер монастырские широко гуляли. Открыли трехдневный запас тушенки и сварили царскую кашу. У деда Мишани выкупили весь запас браги, изготавливать которую он был великий мастер. И самого пригласили в гости. Толокон был, конечно, героем дня. Я подумала было влюбиться в Толокона, тем более, что образ предприимчивого Василия Мухамедовича боле не терзал девичье сердце, растворившись без остатка. Но и Толокон не долго царил в нем: очень скоро он стал пьяненький и смешной, как дед Щукарь. Ничего героического в нем не осталось. «Останемся друзьями», — облегченно решила я.

Вообще, влюбленности почему-то не приживались под сенью монастырских стен, несмотря на то, что здесь собралось столько молодых людей разных полов. Какой-то вирус целомудренности витал в воздухе. Жизнь духа побеждала робкие шевеления плоти.

Чем все закончилось, спросите вы? А закончилось все очень быстро. Через несколько дней нас выселили из монастыря — всех чохом. В городскую мэрию пришла телефонограмма, что монастырь передан Русской Православной Церкви, и всех посторонних лиц просят очистить территорию. Я думала, что у меня будет чувство, будто нас выгнали из дома, но на самом деле появилось чувство, что дом я уношу в себе. И что он у меня, наконец, появился, особый такой дом, в котором мне всегда будет хорошо.

И когда мы, сложив горкой наши рюкзаки, ждали автобус, который должен был приехать и всех нас отсюда забрать, и орали Цоя, и Толокон драл гитару, как мартовский кот, я незаметно откололась от коллектива, и пошла, хрустя битым стеклом, поближе к Храму. Я не умела молиться, не знала молитв, и не испытывала, если честно, тогда потребности обращаться к высшим силам, но вот Храм стал для меня живым существом, весьма дружески расположенным. И уехать, не простившись с ним, казалось мне большим свинством.

— Прощай, Храм. Спасибо тебе за все, — неловко пробормотала я и больше не знала, что сказать. Вот спроси меня, за что я его благодарила, я бы не ответила. То ли за то, что вел-вел и привел меня к себе. То ли за то, что столько веков хранит этот городок. За то, что все остались живы. Что Толокона не прихлопнуло стеной. Что кончилось лето. Что мы были так юны и беззаботны. За то, что ничего не знали наперед, что нам предстоит пережить и испытать.

И это незнание было благословенно и священно куда больше, чем любое, абсолютно любое, знание.

БОГ, КОТОРЫЙ ОБНИМАЕТ ЧЕЛОВЕКА И СМИРЯЕТСЯ ПЕРЕД НИМ

Пошла выбрасывать мусор и встретила нашу старинную знакомицу — беспризорную кошку Черепашку.

Худая, местами облезлая и весьма неказистая с виду (неряшливый черепаховый окрас делает ее похожей на жертву маляра, который в сердцах окропил бедную животину злой своей кистью), Черепашка шла по самому краю выстроившихся в ряд мусорных контейнеров, — шла с непередаваемой грацией, так легко и грациозно, как будто светилась в каждом своем движении. Любая прима-балерина удавилась бы от зависти, увидев такую совершенную пластику.

Я встала и открыла рот. И подумала о том, почему же нам, людям, в большинстве своем, не дано столь красиво нести свои бремена? Ведь, в сущности, вся наша жизнь проходит по тонкой кромке мусорных контейнеров между отчаянием и самодовольством, и высший пилотаж — пройти этой кромочкой, не свалившись ни в ту, ни в другую сторону. И так еще пройти, чтобы вдохновить всех окружающих.

Впрочем, я опять говорю о Христе.

О чем бы я ни говорила и ни думала последнее время, говорю и думаю только о Нем.

В эти дни я часто думаю о Боге.

Вот прям просыпаюсь в 5.30 утра и начинаю думать своей ватной еще со сна головой.

— Бог, — думаю я, — Ты б помог...

Вместо ментального ответа, четко выраженного в словесных формулировках, кто-то мягко-неосязаемый обнимает меня, и мы снова проваливаемся в коротенький сон.

Проснувшись в следующий раз, я нашариваю на тумбочке крошечное карманное Евангелие, кладу на область сердца (обложка из кожзама

приятно холодит через тонкую майку) и долго смотрю в потолок. Тсс!
Мы разговариваем. Без слов.

Мне кажется, я лучше стала понимать Его. Он открыл мне свою тайну:
Он не всемогущий Бог, сидящий на драгоценном троне, вольный карать или
миловать, если захочет. У людей складывается впечатление, что чаще
не хочет. Я б такого не смогла полюбить. Да и никто не может, разве что
мазохисты какие-то, жертвы Глобального стокгольмского синдрома.

Я люблю другого. Он великодушен и всемогущ, но Его всемогущество
упирается в человеческую свободу воли и не может ее, ничтожную,
казалось бы, преодолеть. Только по-настоящему всемогущий и любящий Бог
мог создать мир и населить его персонажами с полной свободой от Бога.
От Себя Самого.

Что при это чувствовал Он? Бог весть.

Что-то слабо похожее может испытать любой пишущий автор, когда
примерно к середине повествования его герои вдруг начинают
самовольничать и говорить своими голосами и вообще качать, что
называется, права. Они, букашки и твоё порождение, вдруг начинают
диктовать тебе, о чем писать дальше! Немыслимо! И ты, снисходительно
улыбаясь, просто записываешь за ними всю ту лабуду, что они делают
и несут.

Ты понимаешь: о-хо-хо, детки выросли. Ничего не поделаешь. Скоро они
наробят тебе таких дров, что мама не горюй. Все дети, живые
и вымышленные, делают это с особым удовольствием.

И ты делаешь единственно верное в этой ситуации: смиряешься перед
собственным порождением.

Как и Он смиряется перед человеком.